

Я ♥ читать

Михаил
ВЕЛЛЕР

БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ

Современные и классические бестселлеры



Михаил Веллер

Баллада о бомбере (сборник)

«АСТ»

Веллер М. И.

Баллада о бомбере (сборник) / М. И. Веллер — «АСТ»,

ISBN 978-5-271-41362-9

Самые авантурные и остросюжетные повести Михаила Веллера составляют эту книгу. Зрительно яркие, как кинобоевики или театральные премьеры, они охватывают спектр истории от викингов до сталинского политбюро.

ISBN 978-5-271-41362-9

© Веллер М. И.

© АСТ

Содержание

Баллада о бомбере	5
Часть первая	5
I	5
II	11
III	17
IV	22
V	28
Часть вторая	35
Глава первая	35
Глава вторая	38
Глава третья	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Михаил Веллер

Баллада о бомбере (сборник)

Баллада о бомбере

Часть первая

Мелодрама в стиле ретро

I

Человек уже полагает, что привык к любым неожиданностям, а как даст ему жизнь по мозгам – он все удивляется и нервничает. Скажем, извольте получить боевое задание: любимую женщину сбросьте ночью с парашютом в тыл врага, пусть она там взрывает мосты, захватывает штабы и рвет коммуникации. А сами возвращайтесь домой, выпейте водки с друзьями, примите поздравления в мужестве и ждите за этот подвиг представления к званию Героя Советского Союза. Весьма достойное распределение женских и мужских обязанностей.

Так рассуждал за штурвалом своего бомбардировщика капитан Гривцов августовской ночью сорок третьего года. По этим рассуждениям, а также по его званию, профессии и времени действия можно предположить, что капитан был молод. Действительно, исполнилось капитану двадцать три года.

Молодость иногда не мешает людям рассуждать верно. Гривцов в данном случае рассуждал верно: он выполнял именно такое задание. Знать он не мог, чем оно кончится. На войне никогда не знаешь, что чем кончится. Впрочем, не на войне тоже.

Любимая женщина сидела, нахохлившись, в бомбовом отсеке. На ней были сапоги, комбинезон, шлем, на спине парашют, на животе автомат, на поясе всякая дребедень. Величайшей несправедливостью войны ей представлялось в настоящий момент отсутствие лаза между бомбовым отсеком и кабиной пилота.

Будучи людьми военными, вдобавок молодыми, вдобавок влюбленными, они были слишком заняты порученным им делом, друг другом и собой, чтобы представить, сколько человеческих жизней и судеб наматывалось сейчас на ревущие винты бомбардировщика, пропарывающего адову мглу, пульсирующую голубой паутиной грозы.

Через полчаса штурман увидит три костра партизанского отряда, и створки бомболюка разойдутся под радисткой, отпуская ее с парашютом вниз. Они не знали, что самолет идет совсем не туда, куда они думают. Знал это один штурман.

– Курс двести тридцать шесть, – сказал штурман пилоту, аккуратно прокладывая двести тридцать три. Он прикинул поправку на ветер, прибавил двадцатикилометровое смещение в точке поворота и удовлетворенно усмехнулся.

Если бы он мог через непроницаемую черноту увидеть, что внизу уже приготовились их встретить совсем не те, кто должен был встретить, все бы сложилось иначе.

А так штурман довольно насвистывал, пилот, командир машины, капитан Гривцов страдал, а десантник радистка Катя Флерова ждала, когда она под парашютом пойдет вниз. И все они ошибались.

Еще четыре часа назад они и не подозревали о возможности столь необычной ситуации. Но – в жизни бывает все, а на войне бывает и то, чего вообще не бывает.

Катя Флерова четыре часа назад сидела в блиндаже полкового особиста. Она старательно писала успокоительное письмо маме. Ее отправляют в глубокий тыл, надолго. Что тыл это немецкий, а не советский, она деликатно умалчивала.

Штурман, лейтенант Георгий Гринько, четыре часа назад собирал цветы для свадебного букета.

Командир, капитан Андрей Гривцов, собственноручно брил невесте щетинистый подбородок. Невестой был хвостовой стрелок Паша Голобоков.

Жених, техник-лейтенант Никодимов, бегал по аэродрому и нервно допытывался у всех, не видел ли кто девушки, которая о нем спрашивала. Оказалось, что ее видели все, кроме него. Правда, описывали по-разному.

А инициатор этого розыгрыша, стрелок-радист Саша-Вережка, кланчил у начпроба фляжку спирта, приглашая его за это быть на свадьбе посажёным отцом.

Экипаж и не подозревал о существовании Кати.

Началось все, как обычно, приходом адъютанта полка:

– Экипаж Гривцова, к командиру полка! С планшетами.

Невеста, сержант Павел Голобоков, тихо сказал:

– Вылет!.. Капитан, с тебя банкет. К черту свадьбу, у нас именины. За этот вылет ты получаешь Героя..

В принципе он был прав. Независимо от боевого задания и даже его выполнения, за этот вылет Гривцов должен был получить Героя. Потому что это был сотый вылет. По указу, за сто вылетов штурмовикам и бомберам давали Героя.

По аэродрому пошел слух: Гривцов летит получать Героя. Героев в полку не было.

Его сотый вылет должен был стать Катиным первым.

У командира полка вторые сутки болели зубы, был он поэтому хмур и немногословен и выражение лица имел кислое:

– Экипаж, слушай боевую задачу. Доставка груза с парашютом. Раскрыть карты. Квадрат К-2-в. Вылет экипажем капитана Гривцова. Время вылета – двадцать три двадцать. Ах-х, черт, зубы-то как болят, а! аж челюсть выламывает. Вы как, ребята, самочувствие нормальное? Везет же людям... Штурман!

Штурман полка зашелестел метеокартой:

– Вот квадрат. Вот мы. Вот гроза. Вот ветер. Пойдете вот так, обратно вот так. В грозу без надобности не суйтесь, запас дальности большой. Высота шесть тысяч метров.

В землянке техник Никодимов нашел наконец невесту в лице Паши Голобокова, кое лицо и обругал. И убежал искать оружейников – срочно готовить машину к вылету.

В двадцать три часа, в полной темноте, накрапывающей легким дождиком («Погодка!...» – ругался штурман), они подошли к самолету.

– Груз в отсеке? – спросил Гривцов.

Никодимов замялся.

Подкатил «виллис» комполка. Из него выгрузились четверо: сам командир, штурман, особист и некто с парашютом.

– Получи груз, капитан.

– Что-о?

– Условия задания ясны? Повтори.

– Где я его повезу в бомбардировщике? В бомбоотсеке?

– Да.

– А чем он дышать будет на шести тысячах, трах-тарарах?

– Пойдешь ниже. Ну, выполняй приказ, капитан.

– Есть выполнять приказ, – хмуро буркнул Гривцов и жестом подозвал «груз». – Раньше хоть летал? Прыгал ночью?

– Андрюша, – сказал «груз» тонким голосом. – Андрюша, это ты?

Гривцов попытался ухватиться за воздух.

– Ка-ка-Катя... – пробормотал он.

– Это я, Катя, – сказал «груз», вздохнул, ойкнул, пискнул, всхлипнул и ткнулся головой ему в грудь.

– Простите, товарищ подполковник, – решительно сказал Гривцов, схватил Катю за плечо и уволок в сторону под крыло.

– Андрюшка, – прошептала она и крепко прижалась к нему, дрожа и задыхаясь, в своем неуклюжем комбинезоне, давя ему в живот болтающимся спереди автоматом...

– Однако, – сказал комполка. – Это вылет. Это Герой Союза. Отойдем сядем в машину, ребята.

– Катька, – зашептал Гривцов, оторвавшись от ее губ, от ее милого, мокрого от дождя лица. – Катька, два года, вся война, что, как, где, когда, куда?

– Когда – сейчас, – тихо сказала она голосом, старающимся не заплакать. – Куда – знаешь. Где – здесь. Что – разведшкола. Как – обыкновенно. По набору. А ты-то, ты-то?

– Что – я... Тоже обыкновенно. Капитан. Командую эскадрилей. Раз сбивали. Сотый вот, понимаешь, вылет... Вот такой сотый вылет.

– А у меня – первый...

Экипаж под хвостом курил в рукав. Комполка из машины окликнул:

– Пять минут до вылета, капитан. Запускай моторы.

– Сейчас! Сейчас. Катька, Катя, господи... Когда ты вернешься?

– Не знаю...

– Запоминай полевую почту: 52 512, слышишь? 52 512, легкий номер, запомнила?

Его привыкший принимать конкретные решения мозг вернул себе, кое-как, способность соображать:

– Так. Первое. Замуж за меня пойдешь?..

– Дурак... – сказала она и заплакала. – А ты правда хочешь на мне жениться?..

– Так. Второе. Ведь если сегодня эти ваши костры не будут гореть, вылет повторяем завтра, или как? Но сегодня возвращаемся?

– Не смей, – сказала она. – Андрей, родной... Там ждут связь... Я тоже солдат. Война же.

– Ты с ума сошла, – обиделся он. – Я просто спросил... Вдруг не горят – все равно же возвращаться...

– Ты найдешь костры, слышишь?! – строго приказала она.

– Штурман найдет... Я доведу...

– Экипаж, принять десант и по машинам! – резко скомандовал из «виллиса» комполка.

О черт, одни бы мне сутки, молил Гривцов, прогревая моторы, выруливая на старт, поднимая машину в воздух. Одни бы мне сутки... Ведь не боеприпасы скидывать летим, не раненых забирать, ну, посидят они там еще сутки без связи, не помрут... Могут же нас вообще сбить по дороге!

И испугался этой мысли. Невольно подумал, два года относился к этому нормально, был сбит раз, а тут по-настоящему испугался, не за себя ведь.

Нет, думал он, ложась на курс и набирая высоту, довести надо. Или – кой черт, два раза такие случайности не повторяются?

Сейчас за сутки с Катей он отдал бы жизнь не задумываясь. Что жизнь? – все равно война. Авиация союзников теряет за налет пять процентов состава. Двадцать вылетов – сто процентов, постоянное обновление. У них норма – двадцать пять вылетов. Последние пять они делают, как они говорят, «из-за черты смерти». А у меня сто. И неизвестно, сколько впереди...

Черт, в сорок первом не трусил, когда среди бела дня на ночных тихоходных бомбардировщиках, без всякого прикрытия, переправы бомбили. Седьмого июля в их эскадрилье из

двенадцати машин уцелело две. И эти две, Кости Звягинцева и его, сбили на обратном пути над линией фронта.

Никто не смеет упрекнуть его в трусости или шкурничестве. У него сто вылетов – норма Героя. У него Красное знамя и «Звездочка», два ранения, он был сбит, он воюет с двадцать второго июня! Пошли они подальше с их связью, двадцатилетнюю девчонку им ночью в грозу в пасть немцам скидывай! Перебьются сутки, перетопчутся.

Капитан Гривцов, это же трусость и предательство, сказал он себе. С тебя же надо сорвать погоны и расстрелять полевым трибуналом.

Да? Пусть сначала те, кто расстреливает, хлебнут войны с мое. Пусть им судьба даст пять минут стояния под дождем с любимой женщиной, чтоб потом самому отвезти ее почти на верную смерть.

А откуда ты знаешь, что они хлебнули и что дала судьба? У всех любимые женщины, у всех война. А тем, у кого любимых нет, лучше? Легче. Но не лучше. А тем, у кого их уже не будет? Тем все равно.

И все-таки лучше всего будет, если они не найдут сегодня этих костров. И совесть будет чиста.

А дело-то ведь не в том, что ты хочешь уберечь Катю. Все равно не убережешь. Завтра же сам отвезешь и сбросишь. Просто сутки побыть с ней хочешь.

А может, и вся-то жизнь наша в этих сутках?

– Штурман, – сказал он в телефон. – Как твое мнение, найдем костры?

– Видимость по нулям, – ответил Жора. – Гроб задача.

От этой поддержки своим мыслям Гривцов почувствовал невероятный подъем.

– Кстати, – сказал наглец Жора, – тот букет, что я набрал на свадьбу, стоит у нас в банке на столе.

– Ты отличный штурман, Жора, – сказал он. – И ты отлично ориентируешься в любой обстановке.

– Жора, – сказал он через минуту, – верно ведь, гроб найти их нам в такую ночь и на таком удалении, практически без ориентиров?

– Не дрейфь, – невозмутимо сказал Жора. – Все возможное мы сделаем. Но – погода диктует авиации, мы не боги.

И Гривцов понял, что к утру они вернутся с продрогшей родной Катей в бомбоотсеке и обнимутся, и подбежит понятливый Никодимыч с фляжкой, и весь день, с утра до ночи, будет их. А ради следующего такого дня можно воевать еще два года.

И следом понял, что все это понимают. И лежащий в хвосте с пулеметом Паша, и Сашка в своем плексигласовом колпаке сверху, и даже командир полка, наверное, тоже это понимает. И все даже сочувствуют. И никто не посмеет упрекнуть ни малейшим подозрением. И весь полк прекрасно поймет, что командир второй эскадрильи капитан Гривцов плюнул на боевое задание, чтобы провести день с бабой. И не подкопаешься.

Он вспотел. Ему же еще много раз отправлять экипажи на смерть. И они будут смотреть на него понимающими глазами: «Сам ты, конечно, здорово разок сошкурничал, но что ж – ты командир...»

Хуже того. Даже если они на самом деле не смогут отыскать костров, ему никто не поверит. Белыми нитками шито. Мол, знаем, понимаем, верим, молчим.

Влип ты, капитан Гривцов. И так плохо, и эдак нехорошо.

А если они увидят костры – что же, не заметить их? И Пашка из хвоста увидит...

Эх, сказал себе Гривцов и провел взглядом по приборной доске. Будем выполнять задание на совесть. Что ж поделать, Катенька...

– Штурман! – приказал он жестко. – Найти сигнальные костры во что бы то ни стало! Ясно?

– Ясно, ясно, – успокаивающе отозвался Жора. Из его тона следовало, что Сашка и Паша все слышат в телефон, а репутация командира должна быть выше подозрений. А штурман старается как может. Все довольны.

– Ты меня правильно пойми, – попросил Гривцов.

– Белены объелся? Конечно правильно.

Но понял он его неправильно. И самолет находился сейчас в ста двадцати километрах от того места, где должен был находиться и которое было отмечено в штурманском планшете. Это имело роковые последствия.

Потому что внизу, на подходах к Витебску, звукометристы крутили штурвалы своих рас-трубов, а номера зенитных расчетов вкладывали кассеты в казенники зенитных автоматов, и прожектористы держали руки на тумблерах прожекторов.

Мертвый слепящий свет выхватил бомбардировщик из черного пространства. Внизу словно заискрилась огромная электросварка: противовоздушная оборона железнодорожного узла заработала разом. Раскаленные нити зенитных очередей стремились соткаться в саван и накрыть их маленький серебряный самолет, беспомощно влипший в перекрестие голубых мечей прожекторного света.

– Крышка русскому, – профессионально оценил аккуратный немецкий фельдфебель, размеренными движениями сдвигая горизонтальную наводку прожектора, держа цель в центре луча.

Бомбардировщик доживал последние секунды.

Оскалившийся Гривцов, навалившись на выкрученный влево штурвал, вогнав в пол левую педаль, рычал от бессильной ярости и ставил самолет на крыло, чтоб в скольжении протаранить стену света и уйти в спасительную тьму. Воздух, как перину, взбивали зенитные разрывы. Газ был выбран до отказа, и моторы захлебывались надсадным воем.

– Витебск! – заорал штурман.

– Хорошо, что не Берлин, – философски отозвался из хвоста Паша.

– Жора, убью, если не уйдем, – зарычал Гривцов, бросая лязгающую от перегрузок машину из стороны в сторону. – Сашка, давай дымовую шашку!

Стрелок-радист зажег огромную, с кастрюлю шашку для постановки дымовых завес. На привязанном багре выставил ее в лючок своего плексигласового колпака. Густой шлейф дыма рвался за самолетом.

– Держись, пикирую! – Гривцов отдал штурвал до отказа и приподнял закрылки, машина резко просела и ринулась носом вниз, моторы зашлись комариным звоном, боль в ушах, фиолетовые круги, бросок, удар!..

Темнота.

Едкая гарь.

– Вырвались! – выдохнул Гривцов.

– Командир, из правого мотора огонь, – прерывающимся голосом сказал Саша. – Я ранен... Тут в клочья все...

Бешеный огонек струился с правого мотора, рос и набирал силу. Мотор ревел натужно и терял обороты.

– Не дотянем, – сказал Гривцов.

– Дотянешь, командир, – сказал Жора. – Дует обратно.

Гривцов развернулся на обратный курс, перекрыл масло и бензин правому мотору, убрал его зажигание и выжал все из левого.

– Если сам погаснет, то дотянем, – сказал он. – Только так не бывает.

– Мы прыгать не можем, – сказал Жора. – Она у нас в бомбоотсеке. Мы не увидим ее парашюта в такую ночь. Если она ранена?

– Паша, ты цел в хвосте?

– Да вроде...

– Саша?

Саша молчал.

Гривцов представил себе залитую кровью Катю в изодранном зенитными осколками бомбоотсеке и застонал. Прыгать с парашютом ему нельзя. Надо как-то сажать, спасать Катю.

Мотор горел с шипением сбиваемого встречным потоком пламени, и бомбардировщик терял высоту.

– Девятьсот метров осталось, – сказал Жора.

Ну держись. Гривцов перевел машину в пологое пики и выжал из левого мотора все. Под крыльями затрещало...

– Разваливаемся! Семьсот километров! – заорал штурман.

– Врешь, – хрипло сказал Гривцов. – Сбили пламя... Вот теперь пойдем домой. Смотри вперед лучше. Мне уже высоту не набрать...

Они давно вышли из грозы и шли на восток в лунном свете на высоте двухсот метров, когда Паша Голобоков спокойно сообщил из хвоста:

– Большое везение. Истребитель пристраивается.

И огненная трасса прочеркнула над левым, работающим, мотором.

– По выхлопу бьет, гад, – сжал зубы Гривцов. – И угораздило еще нас на ночной истребитель напороться..

«Юнкерс-88», оборудованный фарой для ночной охоты, превосходил их сейчас в скорости на двести километров. Его стрелок крутил в верхней турели спаренный крупнокалиберный пулемет, а штурман пристраивал свой пулемет в прорези носового фонаря.

Он догнал их сзади, уравнил высоту, и из трех стволов размочалил хвост.

– Паша!

Паша не отвечал, лежа в изодранном крошечке своей кабинки. Машина теряла управление.

– Жорка, прыгай! Прыгай, ну!

Штурман прыгнул.

Гривцов отодвинул форточку и попытался разглядеть, что внизу. Внизу был лес. «Юнкерс» зашел снова, и пулеметная очередь пробарабанила по бронеспинке. А в бомбоотсеке была Катя, живая или мертвая – Гривцов не знал.

Он сажал бомбардировщик на лес. Открыл фонарь, отстегнул привязные ремни. Ему повезло хоть сейчас – он сел на вырубку.

Удар! треск, хруст, бросок! Сели!

Они плюхнулись на брюхо в болоте среди пней, и многострадальный бомбардировщик вспыхнул разом, будто посадки только и ждал, чтоб сбросить с себя бремя существования на этой войне.

– Катя-а! – дико заорал Гривцов, выпрыгивая из кабины, и замер: бомболюк открывался из кабины штурмана... Но створки люка плотно легли в болотную грязь. Машина горела.

Он бросился к отсеку и забарабанил кулаками, рукояткой пистолета по обшивке. И в ответ прозвучали изнутри слабые удары...

Спас их мертвый Паша Голобоков. Паша возил с собой в хвосте топор, – он был сибиряк и топор считал необходимой аварийной принадлежностью. Гривцов судорожно схватил топор в его кабинке, залитой кровью, и с маху прорубил дюралевую обшивку. «Сейчас, Катя», – хрипел он, вырубая выход из фюзеляжа, пляша в огне со сгоревшими бровями и ресницами.

Два грузовика с немцами заезжали в лес в километре отсюда. И розыскные собаки поскуливали в кузовах.

II

Комбинезон на Гривцове дымился. Он прорубил уже дыру в фюзеляже и сунулся в нее, как вдруг получил удар по голове чем-то тяжелым и железным.

– Рация... – слабым голосом сказала Катя. – Рацию возьми...

– Какая к черту рация! – заорал Гривцов. – Взорвемся сейчас!

Он сорвал с Кати парашют, ранец, всю дребедень и стал пропихивать ее наружу. Катя была в полуобмороке. Она цеплялась за края отверстия, сопротивляясь, и повторяла:

– Рация...

– Да будет тебе рация! – Гривцов поднатужился и протолкнул ее наружу. Кое-как подал ей через дыру рацию и вылез сам. Схватил одной рукой Катю за шиворот, другой – рацию за лямки и стремительно потащил прочь от горящего самолета. Ноги его путались в длинном ремешке планшета, но планшет он не снимал: в нем карта, по ней еще предстоит выбираться отсюда.

– Андрей, ты горишь! – слабо закричала Катя.

Он упал на влажную землю среди пней и стал кататься, сбивая пламя с комбинезона. Комбинезон расползлся, и он срывал с себя тлеющие куски. Наконец погасил, в возбуждении не чувствуя боли в обожженных руках и лице.

В сотне метров от самолета они в изнеможении сели и привалились спинами к огромному пню. Судорожно дышали, глядя на пылающую машину, чуть не ставшую их могилой.

Взрыв потряс лес – это взорвались бензобаки бомбардировщика. Яркое пламя осветило вырубку. В трещащем костре силуэт бомбардировщика словно таял.

– Так, – сказал Гривцов, облизывая обожженные губы. – Первое дело мы сделали – сели. Второе тоже сделали – вылезли из машины на землю. Осталось сделать только третье – дойти до дома.

Он хмыкнул, достал из планшета папиросы и спички и закурил. Спросил Катю:

– У тебя НЗ есть? Или все там осталось?

Лицо у Кати сделалось виноватым. Она достала из кармана полплитки шоколада:

– Вот все...

– Ладно, – сказал он. – Поймаем утром медведя и съедим. А сейчас я докурю, и мы побежим как можно дальше от этого места, и как можно скорее. Немцы – народ педантичный, аккуратисты. Небось уже едут сюда – посмотреть, что от нас осталось.

Он напрягся, вслушался:

– Молодцы, быстро поспели. Ну, быстро за мной! Оружие есть?

Сунул руки в лямки рации, вынул пистолет из кобуры и тяжело побежал, сожалея об оставленном в самолете Катином автомате. Она бежала за ним. Темный лес вставал перед ними, дыша сыростью.

Лай собак приближался. Гривцов бежал в темноте, рация тяжело била по спине. Ветви хлестали лицо, ноги спотыкались о корни деревьев. Сзади тяжело дышала Катя.

– Катька, – прошептал он, – если через двести шагов не будет опять болото – рацию твою я бросаю. У них собаки. Самим бы уйти.

Он ясно представлял, что сейчас произойдет. Добежав до вырубki, немцы пустят вперед веера пуль из автоматов и подбегут к догорающему самолету. Потом проводники собак обойдут костер кругом, собаки возьмут след и натянут поводки, и погоня устремится за ними. А их – двое, два пистолета. Сдаваться нельзя...

– Двести шагов, – выдохнул он и сбросил рацию. Катя схватила ее и потащила вперед. Он догнал и отобрал.

– Девочка, дура... – приблизил к ней в темноте лицо, чуть не плача. Она цеплялась за рацию изо всех сил. Секунды терялись.

Гривцов представил себе, как Катя лежит в этом лесу мертвая рядом с железным ящиком рации, застонал от непереносимой муки и, снова надев проклятый ящик, побежал.

С вырубki донесли автоматные очереди. Все разворачивалось именно так, как Гривцов представлял: немцы добрались до самолета.

– У нас минут десять опережения, – задыхаясь, сказал он. – Через полчаса нагонят, не позже...

Где-то между вершин деревьев запели пули – погоня взяла след и двигалась в их направлении.

Но бог войны смиловился над ними и на этот раз, потому что под ногами зачавкало. То, что им требовалось: болото!

– Только бы не трясина, – прошептал Гривцов, бредя по щиколотки в воде. Он свернул в сторону, чтоб не оказаться на пути преследователей, они продолжают путь наугад, и собаки уже не смогут привести смерть по скрытым водой следам.

Они шли, по пояс проваливаясь в ямы с водой. Гортанные выкрики немцев уже различались. Собаки надрывались от лая и вдруг беспомощно заскулили: они дошли до воды и потеряли след. Последовал взрыв немецкой брани и длинные автоматные очереди: немцы прочесывали досягаемое для стрельбы пространство болота огнем.

Хлопнули ракетницы. Мертвенно-белым светом залилось болото: чахлые деревца и кустарник, кочки, лужи ржавой воды. Болото уходило вдаль.

Гривцов и Катя, по горло в воде, стояли за кочкой, на которой рос куст чахлого ракитника. Рация держалась между его корней.

Гривцов посмотрел на свои светящиеся часы. Часы тикали.

– Полвторого. До рассвета еще часа три. Авось не станут ждать, уйдут...

Немцы ушли через полчаса. Далеко в болото соваться побоялись.

– Ну, – тихо сказал Гривцов, – сзади нас уже не ждут. Попробуем идти вперед. Тебе по-прежнему нужна твоя рация?..

И тут, когда непосредственная опасность миновала, его словно сладко обожгло: так или иначе, но они с Катей вдвоем!

Катя поднесла к глазам светящийся компас:

– Восток там.

– Это, конечно, здорово, что восток там, – одобрил Гривцов. – А где кончается это болото, твой компас нам не покажет, а?..

И все еще по горло в воде, он обнял ее и стал целовать чумазое мокрое лицо:

– Катька, с нами теперь никогда ничего плохого не случится, слышишь... Нет, еще случится, а живы будем...

– Вот так мы встретились, – шептала Катя, уткнувшись носом в его щеку... – Андрюшка, родной... Ну, води меня, мой сильный мужчина, капитан авиации и командир эскадрильи...

Он выбрался туда, где было помельче, по пояс. Отломал ветку подлиннее и, ощупывая ею перед собой дорогу в воде, пошел дальше через чавкающее болото. Катя держалась в десяти шагах сзади.

– До света надо на сухое выйти, – сказал Гривцов. – Днем будем тихо сидеть в лесу, а двигаться по ночам.

В половине пятого болото кончилось. В изнеможении Катя опустилась на твердую землю.

– Встать! – грубо приказал Гривцов. – Иди за мной! Ну!

И тихо толкнул ее ногой. Она ахнула изумленно и поднялась.

– Распускаться не дам, – сообщил Гривцов жестко.

Он был старый солдат – два года войны. Он знал, как губительны бывают жалость и сочувствие и как может спасти измученного человека жестокая сила приказа.

На рассвете, когда вершины сосен выступили в сером небе и запели в ветвях лесные птицы, Гривцов и Катя рухнули в траву на укрытой кустарником поляне.

– Так, – сказал Гривцов, отдышавшись. – Первое: как там у нас с солнцем? Не предвидится. Костер. Сушиться. Греться.

Он натаскал сушняку и поднес зажигалку, но фитиль отсырел, и огня не было.

– Второе. Сушим все, что можно сушить. – И аккуратно разложил на бугорке двенадцать папирос из портсигара.

– Третье. Иди за этот куст, снимай с себя все и кидай сюда – выжму как следует. – Он в смущении отвернулся.

Катя покраснела, хотела что-то сказать, но молча встала и скрылась за указанным кустом. Через минуту оттуда вылетели ее комбинезон и гимнастерка.

– Брюки! – строгим голосом приказал Гривцов.

Вылетели брюки.

– Остальное! – приказал Гривцов еще более строго.

После паузы дрожащий голос из-за куста воспротивился:

– Остальное я сама!

– Только как следует!

Отжав Катины вещи, Гривцов отошел и занялся собой. От комбинезона остались одни лохмотья. Гимнастерка и галифе были в подпалинах. Противнее всего было натягивать вновь сырое белье.

– Катя, – позвал он. – Помнишь, мы в июне были на пляже? Ну, перед войной? Так вот, приказываю: форма одежды – пляжная. И без дураков у меня! Сушиться будем.

Однако форменные подштанники в качестве пляжного костюма были явно неприличны. Подумав, Гривцов сунул ноги в рукава нижней рубашки и после некоторых усилий соорудил шорты вроде тех, в которых Робинзон Крузо гулял по берегу после кораблекрушения.

– Так! – бодро сказал он, довольный своей находчивостью. – Ты готова?

Из-за куста ответили неразборчиво, но интонация была отрицательной.

– Считаю до двадцати...

Он тоже смутился, решил, что уже светло и костра видно не будет, попробовал зажигалку – фитиль подсох, и веселый огонек побежал по куче сухих ветвей. Пламя затрещало, повеяло теплом.

– Иди к костру. Я смотрю в другую сторону. А то силой вытащу.

Они грелись, сидя по разные стороны огня спинами друг к другу.

– Суши брюки, – приказал Гривцов, и Катя стала держать поближе к костру свои влажные брюки, от которых шел пар.

Потом она оделась, он сушил свое и сдерживал вздохи, глядя на тоненькую шейку, торчащую из ворота гимнастерки, и подстриженные на затылке пушистые каштановые волосы.

Вышло солнце. Папиросы высохли, и Гривцов закурил.

– Завтракаем, – скомандовал он, достал из планшета Катин шоколад, разломил пополам, половину снова разломил на две неравные доли и большую дал ей.

По карте из его планшета они попытались определиться. Ничего хорошего из определения не следовало: километров триста до линии фронта. Около ста – до места, где Катю должны были встречать.

Рация не работала. Катя разложила на солнце подмокшие блоки питания.

До вечера им предстояло решить задачу: идти на восток, к линии фронта, держась лесами и кормясь тем, что под ногами растет, или на запад – дня за четыре можно было дойти до назначенного Кате места и попытаться найти ее группу или партизан – кто там ее ждал.

И, сделав все неотложные дела... они замолчали и неуверенно посмотрели друг на друга. И думали оба одно: «А если не дойдем? А если этот день – для нас последний? На фронте загса нет, а здесь – тем более...»

– Черт... – сказал Гривцов беспомощно, – Катя, я люблю тебя...

– Я тебя тоже... – прошептала она, отвела взгляд, сжалась и отодвинулась.

И вдруг Гривцов прояснел, словно нашел самое простое решение:

– Катя, – сказал он легко, и даже засмеялся, – выходи за меня замуж!

– Когда? – спросила она и тоже засмеялась. – Хорошо, Андрюшка, дурак! Конечно выйду!

Изменившимся голосом он сказал:

– Сейчас...

– Ты с ума сошел...

Он сорвался с места, через минуту вылез из кустов с букетиком каких-то белых цветочков, стал на колени, протянул ей и повторил голосом, хриплым от горя, что вот сейчас она скажет «нет»:

– Катя, выходи за меня замуж... – И неожиданно почувствовал, что что-то теплое расплылось в его глазах и поползло вниз по щекам.

– Господи боже мой, – сказала Катя, обняла его, прижалась и со вздохом закрыла глаза.

И в его закружившейся голове какое-то время еще стучало: «Теперь можно и умирать... теперь можно и умирать... Теперь можно и умирать...»

– ...Теперь можно и умирать... – медленно возвращаясь в реальный мир, прошептал он в Катины пушистые волосы.

Она вздохнула, пошевелилась, всхлипнула, подняла на него глаза, вытерла слезы и засмеялась:

– Фигушки! Вот теперь умирать тебе никак нельзя! Что я, спрашивается, без тебя буду делать, а? Так что теперь будьте любезны жить, товарищ капитан!

Странное дело: Гривцов мог бы в этот миг поклясться, что никогда не умрет.

Вечером они съели остатки шоколада и тронулись на запад. Гривцов опять волок на себе неработающую рацию: Катя уверяла, что питание высохнет, и все будет в порядке.

За ночь они, по его подсчетам, прошли километров двадцать пять, и на рассвете снова устроили лагерь на поляне. Все было бы неплохо, но есть хотелось невероятно. Гривцов выкурил еще одну папиросу, насильно скормил Кате горсть зеленых метелочек завязи еловых шишек («Витамины!») и приказал играть отбой.

На следующий день, с болью глядя на осунувшееся Катино личико, он плюнул на предосторожности, взвел пистолет и пошел на охоту. Застрелил довольно тощего барсучка и приготовил из него шашлык. Половину шашлыков он отложил про запас.

На третий день у Кати ожила рация. От радости Катя воспрянула духом. Ночью она вышла на связь. Инструкции были таковы: постараться найти группу, которая должна находиться где-то в этом районе. В случае неудачи искать партизанский отряд и сообщить об этом.

– А я? – озадаченно спросил Гривцов.

– А тебя мы отправим на самолете обратно, – пообещала Катя.

Если б она сейчас знала, что ее обещание сбудется совсем не таким образом, как она себе представляла!

На четвертый день они наткнулись на деревню. Гривцов велел Кате сидеть в лесу, а сам кустами пробрался ближе.

Покосившиеся серые избы стояли безмолвно. Ни визга свиней, ни кудахтанья кур... И эта далекая глухая деревенька была опустошена войной... Выждав с полчаса, Гривцов с пистолетом наготове стал красться к крайней избе. Перемахнул через покосившуюся изгородь в заросший бурьяном огород. Подполз к маленькому оконцу. Затаив дыхание, заглянул в дом...

Старуха в черном вдовьем платке, с темным морщинистым лицом, гладила худую кошку, свернувшуюся у нее на коленях.

Гривцов тихонько постучал в окно:

– Бабушка... Эй...

Старуха вздрогнула. Кошка потянулась и спрыгнула на пол.

– Немцы есть у вас? Я свой, русский...

Испуганно оглянувшись, старуха подошла и отворила окно:

– Ты оружию-то спрячь... Что тебе надо?

Голодом и бедой пахло в бедной избе. Через минуту Гривцов сидел за покосившимся столом и жадно хлебал из миски тюрю из жмыховых лепешек с лебедой, размоченных в воде, а старуха, пригорюнясь, глядела на него и рассказывала:

– Кто куды разошлись все... Человек, почитай, двадцать осталось... Немцев у нас нет, в сорок первом в августе были недолго, и ушли... А полицаи в восьми километрах здесь, в соседней деревне, в Костюковичах, там управа ихня... Каждую вторую неделю приезжают с проверкой, партизан ловить. А только и партизан нет у нас, в нашу деревню не заходили никогда. А вообще есть здесь они по лесам... Вот только четвертого дни к Анне Даниловой заходили четверо, наши, по-военному одеты. Спрашивали тоже, нет ли здесь наших... Ты не их ищешь, сынок?

– Их, – сказал Гривцов. – А куда они пойти могли, мать?..

Старуха посмотрела на него с недоверием и промолчала.

За окном стемнело от туч. Скрежещущий удар пронесся по небесам, и хлынул ливень.

– Я пойду, – Гривцов встал и поклонился ей. – Нет ли еще чего поесть, мать? Там меня в лесу друг ждет... Я летчик, сбили гады меня...

– Куды в ливень иттить? – Старуха недобрим взглядом пробурала Гривцова, накинула на голову мешковину и пошла вон из избы, сказав от порога:

– Жди здесь... Скоро вернусь.

Не за полициями ли отправилась старая ведьма, размышлял Гривцов, сидя с пистолетом у стола и водя глазами по окнам. Уйти? Но там, под дождем, Катя... Она совсем ослабла от голода.

Старуха вернулась с маленьким кусочком сала. Завернула его в узелок вместе с двумя лепешками и подала Гривцову:

– Храни тебя господь, сынок... – и перекрестила его.

Он вернулся в лес, промокший до нитки. Катя, нахохлившись, сидела с пистолетом под раскидистой старой сосной.

– Лопай, – весело сказал Гривцов. – Где-то здесь твои. Три дня назад в деревню заходили...

Он поцеловал ее и почувствовал, что лицо ее пышет жаром.

– Я что-то не хочу есть... – слабо сказала она. – Я, кажется, немножко простудилась...

Если бы Гривцову надо было в этот миг застрелиться, чтоб Катя выздоровела, он сделал бы это не задумываясь.

– Ерунда, – бодро сказал он, не показывая беспокойства. – Мы почти на месте, деревня рядом, ни немцев, ни полиции в ней нет. А ну, за мной!

И уже знакомой дорогой он пришел с Катей в избу.

Увидев их, старуха всплеснула руками, укоризненно покачала головой и принялась разжигать какие-то жалкие щепочки в печи. Поставив на огонь воду в горшке, она выставила Гривцова в сени, раздела Катю, растерла куском жесткой холстины и стала поить горячим отваром душистых трав. Кошка терлась в ноги и мурлыкала.

Катя уснула на печи, укрытая грудой сухого тряпья.

– Через два дня здорова будет, – сказала Гривцову старуха. Она внимательно посмотрела за окно:

– А только утром уйти вам надо. Погода будет завтра, сухо. Вдруг полицаи...

Гривцов заснул на полу. Уже светало, когда старуха растолкала его:

– Скорее бегите! Душегубы с проверкой в деревню пожаловали.

Гривцов различил стук колес телеги и зычный мужской голос:

– Спокойно, бабы! Проверочка! У кого партизан или поросенок – давайте его сюда! –

И смех.

На четвереньках пробравшись через огород, Гривцов и Катя побежали через луг к лесу. До леса было метров четыреста. Гривцов рассудил, что разумнее преодолеть их бегом: заметят их вряд ли, а в лес соваться, может, побоятся. Вряд ли полицаев много.

Но в местной полиции служили, видимо, опытные и расторопные ребята, потому что один из них сидел на крыше с винтовкой, удобно прислонясь к печной трубе, и вертел головой по сторонам: он выполнял обязанности боевого охранения.

– Двое к лесу бегут! – заорал он. – От избы Глазычихи! – И, аккуратно прицелившись, выстрелил.

Гривцова толкнуло в спину и бросило на землю. Он вскочил, бросил взгляд на рацию: пуля застряла в ней. Этот железный ящик спас ему жизнь – надолго ли? – но сам стал бесполезен.

Пятеро полицаев уже выбегали за околицу, передергивая затворами винтовок. Один был с автоматом – безотказным немецким «шмайссером».

Гривцов выстрелил несколько раз в их сторону и с удивлением увидел, как автоматчик ткнулся в землю.

– Удачно, – невольно пробормотал он. – Катя, перебежками!

Петляя и падая, они бежали под пулями к лесу.

Из деревни вылетела телега, рослый детина с белой повязкой полиция соскочил с нее, лег с пулеметом на землю и установил прицел.

– Стрелки... – презрительно сказал он и выпустил по бегущим длинную очередь из своего «машиненгевера».

Беглецы уже достигли крайних деревьев, когда пуля попала Гривцову в левое плечо, и, падая, он успел порадоваться, что в левое, а не в правое, потому что он мог стрелять, прикрывая Катин отход.

Он отполз за ствол старой сосны и вложил в пистолет запасную обойму. Катя лежала рядом и с ужасом смотрела на него.

– Давай запасную обойму, – сказал он. – Все. Я прикрою. Беги. Катка – люблю – всегда вместе будем – скорее! Ну!! – и в отчаянии, что она не уходит, жестоко выматерился ей в лицо. – Ну!!

И лишь когда вдали затих шум раздвигаемых ею ветвей, он успокоился, почти обрадовался даже и выглянул из-за ствола.

Полицаи приближались короткими перебежками. Гривцов стрелял, целясь, но они подбегали все ближе, обойма кончилась, он подумал, что не успеет вставить новую, и был прав, потому что они подбежали раньше, и от удара прикладом по голове он потерял сознание.

И увозимый на телеге, со связанными руками, не мог слышать, как в лесу за Катиной спиной клацнул затвор и негромкий голос велел:

– Стоять!

III

Он пришел в себя оттого что голова его билась о дно телеги. Первой мыслью было: «Жив...» Второй: «Катя... что с ней?..» Третья и четвертая мысли появились одновременно и затеяли отчаянную борьбу в раскалывающейся от боли голове: «Расстреляют» и «Бежать! Как угодно, вопреки всем обстоятельствам – все равно сбегу!»

Наверное, эта последняя мысль ясно отразилась в его раскрывшихся глазах, потому что рослый детина, придерживающий между колен ручной пулемет, взглянул на него с ухмылкой и успокоил:

– Теперь не сбежишь, не волнуйся. Побеседуешь немного с начальством – и капут. Приведи в порядок совесть.

Гривцов заскрипел зубами, глядя в его сытое свежее лицо:

– Моя совесть в порядке... А твоя, гад?

Детина загоготал:

– А я ее сховал в надежном месте, пока война не кончится. Чтоб сохранней была! А то истреплется... – И одобрительно подмигнул Гривцову: – А ты ничего, сука, храбрый! Снайпером был, что ли? С двухсот метров из шпалера Моргунку в лоб засветил!

Гривцов скосил глаза и увидел на дне телеги рядом с собой мертвеца с повязкой полица. «Это тот, с автоматом?.. Хоть одного уложил...»

– Жаль, тебя не уложил... – сказал он детине.

Тот нахлестнул вожжами лошадей и, обернувшись, ласково улыбнулся ему:

– Особенно тебе будет этого жаль завтра утром, когда я тебя вешать буду...

– Посмотрим!..

– Смотреть будут другие. Ты будешь висеть.

Сквозь свежую листву над головой Гривцов видел ясное небо с редкими облачками и думал о том, что Катя, наверное, все-таки ушла и теперь ей сухо в лесу и тепло, и за пазухой у нее две лепешки и кусок сала, и карта в кармане, и обойма в пистолете, и, может быть, она выберется к партизанам, и уж во всяком случае она будет жива завтра утром, когда его уже повесят, и от этой мысли, что она будет жива, когда его уже не будет, на лице его появилось счастливое выражение.

– Чо лыбишься? – поинтересовался детина. – Что второй ушел от нас? Дак ты через час сам скажешь, где его искать.

– Не дождетесь, – сказал Гривцов.

– Дожде-омся, – пообещал детина. – И лучше сразу скажи. А то очень больно будет...

Они въехали в деревню.

– К управе давай! – закричали полицаи со второй телеги, ехавшие вслед за ними.

Управа помещалась в довольно просторном доме, где до войны, видимо, была школа или сельсовет. Над входом лениво шевелился под теплым ветерком красный флаг со свастикой в белом круге.

Толстый человек в немецком френче без погон вышел на крыльцо и обвел подъехавших ленивым взором:

– Так... Одного ухлопали, одного захапали... Так на так. Ну, тащи его ко мне – беседовать будем...

Гривцов сам, преодолевая боль, слез с телеги и шагнул на крыльцо. Пошатнулся. Детина хотел поддержать его. Ребром правой ладони Гривцов рубанул его по горлу. Огромной лапицей детина перехватил его руку и слегка свернул, а другой отвесил легкий подзатыльник, буркнув: «Зря развязал тебя». Это с виду подзатыльник был легким – в голове у Гривцова загудело и поплыли круги...

Толстяк во френче – начальник – долго разглядывал его через стол. Потянулся – ощупал гимнастерку:

– Недавно здесь... Диверсант.... Расскажешь все – будешь жить, обещаю. Что толку нам тебя повесить, сам понимаешь... А так – составим рапорт о твоей группе, мне – благодарность, тебе – жизнь за то, что помог и вину свою осознал. Чем ты виноват?... Поверил большевикам, обманут... Ну, когда вас выбросили? Молчишь... Николаев! Николаев, проводи «товарища» на экскурсию.

Николаев, тоненький юноша с нервным лицом, подошел к сидящему Гривцову:

– Позвольте руки...

Он ловко связал ему сзади руки и сделал приглашающий жест:

– Прошу...

В полуподвальном помещении, где свет скупо проникал сквозь маленькое пыльное окошко под потолком, Гривцов увидел деревянный топчан, весь в засохшей крови. Николаев вежливо произнес:

– Прошу садиться... Зубной боли не боитесь? – и указал на обшарпанную бормашину. Гривцов невольно стиснул зубы.

– Простите, вы женаты? – Николаев говорил необыкновенно светским тоном. Он взял кузнечные клещи и повертел их в тонких белых руках... Потом потрогал маленькие щипчики: – Вы, наверное, не привыкли ухаживать за своими ногтями...

Гривцова затошнило... Николаев, внимательно следящий за его побледневшим лицом, ногой подвинул по цементному полу жестяной таз:

– Вам дурно? Простите, воды здесь нет. Разденьтесь, пожалуйста.

Он зажег керосиновую лампу и стал накалять на ней вязальную спицу:

– Инструменты стерилизуем – чтоб не занести инфекцию.

В дверь просунулся детина:

– К господину начальнику!

Николаев с неудовольствием поморщился:

– Мы прощаемся с вами ненадолго, дорогой... Возвращайтесь.

Начальник за столом ел землянику из блюдечка.

– Как тебе наша амбулатория? Ну, рассказывай...

И Гривцов с ужасом услышал свой голос, произнесший:

– Что вы хотите знать?

Начальник оживился:

– О, вот! Когда вас выбросили с самолета? Парашютисты? Или переходили фронт пешком?

Гривцов лихорадочно соображал. Тянуть время! Усыпить их бдительность! Дожить до ночи. Потом – бежать.

– Я все скажу, – произнес он, чувствуя себя уже предателем. Так вот как становятся предателями!..

– Говори. Парашютист? Ну!

– Завтра, – пробормотал Гривцов. – Все завтра скажу...

– Николае-ев!

– О черт. Парашютист!

– Когда выброшен?

– Восемь дней назад.

– Состав группы?

Гривцов вдруг представил, как карательный отряд ловит несуществующих парашютистов, прочесывает местность, а там – одна Катя, больная, беспомощная, и где-то здесь – группа, которая ее ждет, кольцо облавы сжимается вокруг нее...

– Пусть тебе цыганка нагадает состав группы, – с яростью сказал он и поднялся:

– Привет!

– Куда?

– В амбулаторию! Что-то зуб болит, – с издевкой сказал Гривцов и плюнул в блюдечко с земляникой:

– Приятного аппетита!

Стоявший у двери детина коротко гоготнул, аккуратно снял с верха блюдечка несколько ягод и, неожиданно зажав Гривцову нос, сунул землянику ему в рот:

– Жри, падла!

Гривцов послушно разжевал душистые ягоды и, преодолевая желание проглотить их, вдруг плюнул душистую розовую массу в рожу детине.

Теперь хохотал начальник. Детина утерся, руки вытер о гимнастерку Гривцова и похлопал его по плечу:

– Ну пошли, храбрый...

... Через полчаса истерзанного Гривцова выволокли из подвала и бросили в угловую комнату с решеткой на окне. Детина вылил ему на голову ведро воды, и Гривцов очнулся, захлебываясь...

Оглянувшись, детина вдруг прошептал:

– Не дрейфь, браток... Выпутаемся...

Когда Гривцов осознал смысл его слов, тот уже вышел и дважды провернул ключ в замке.

Ночь Гривцов провел без сна, сдерживая стоны от мучительной боли. Под утро вновь возник детина:

– Слушай сюда, браток... Говори, что ты сбитый летчик. Понял? Продумай все покрепче... Тогда – может быть, отправят в концлагерь... Молчать все равно не удастся...

– Почему? – спросил Гривцов, с надеждой глядя в его лицо. Кто он? Попал в полицию случайно? Почему не бежит к партизанам? Боится, что там расстреляют? Или он разведчик?..

Но тот поспешно вышел.

Утром Гривцов понял, почему молчать не удастся.

– Посмотри-ка в окно, – сказал начальник, обдергивая френч на животе.

На пыльной маленькой площади перед управой стояло десять человек: два старика, три женщины и пять детей. Младшему из детей было года два. Он, не понимая происходящего, одной рукой держался за руку матери, а другой ковырял в носу. Старики мелко крестились.

Полиции с винтовками полукругом стояли позади их.

– Моргунка ты убил, – объяснил начальник. – За одного нашего – десять заложников, понял? На размышление тебе – одна минута. Или говоришь все, и они идут по домам, или они будут расстреляны – здесь и сейчас! – а уже потом повесим тебя.

Гривцов внимательно посмотрел в глаза начальнику и понял. Тому, собственно, было плевать, что он скажет. Ему нужно было представить своему начальству очередной рапорт о своей успешной деятельности. И еще – его интересовала собственная безопасность. Не собируются ли громить их управу партизаны. На партизана Гривцов не очень походил.

– Записывай, палач, – с ненавистью сказал он.

Начальник удовлетворенно улыбнулся. И по его улыбке Гривцов понял, что начальник тоже его понимает. И что он, может быть, по натуре человек не злой и не жестокий. Просто – чиновник, мелкий карьерист, желающий выдвинуться независимо от обстановки. Такие люди всегда желают представить своему начальству то, что начальству хочется от них получить. И тогда они продвигаются вверх. А то, чем они занимаются, их не интересует. Ход их мыслей таков: «И рад бы быть добрым... Я же по натуре человек хороший... Да что ж делать – жизнь такова. А жить-то надо...»

– Сбили меня, – сказал Гривцов. – Четыре дня назад сбили. Над Витебском. Можете проверить...

– Какая была задача?

– Выброс диверсионной группы.

– Квадрат?

Вот здесь врать можно было сколько угодно. И Гривцов всласть наврал о большой диверсионной группе, контейнерах со взрывчаткой, железнодорожных мостах и разведчиках в немецком обмундировании. Он лихорадочно соображал, что с ним будет дальше: расстреляют, отправят в лагерь или передадут куда-нибудь к начальству повыше для дальнейших допросов.

Начальник высунулся в окно и сделал знак рукой. Полицаи закинули винтовки за плечи и махнули заложникам: идите по домам. Те торопливо пошли прочь с площади, испуганно оглядываясь.

– Ну, что с тобой теперь делать? – спросил начальник.

– Разрешите, я его распишу, – подал голос детина от двери. Гривцов с надеждой взглянул на него и, играя, процедил:

– Жаль, тебя вот я не шлепнул на лугу, гада.

Начальник с сомнением потер лоб:

– Собирайся, Крышук. Доставишь арестованного в управу в Полоцк и передашь рапорт. С собой возьмешь Аверко.

Они отправились в путь наутро, в тряской телеге, куда детина, фамилия которого была Крышук, бросил охапку соломы. Во время остановки Гривцов попросил отвести его в сторонку, в кусты, и там – один на один – тихо спросил детину:

– Ты кто?

– Был колхозник, – тихо сказал детина. – Потом был солдат. Теперь – полицай я...

– А что к партизанам не сбежишь?

– Шлепнут.

– А наши приедут?

– Тоже шлепнут. Да где они, наши... Все под немцем уже...

– Шкура...

– Был бы я шкура – лежал бы ты, дорогой товарищ летчик, сейчас на том лужку носом в траву, и дружок твой рядом. Я что ж, думаешь, с двухсот метров из пулемета вас снять не мог?

– А что не снял?

– Свои же вы...

– Слушай, – попросил Гривцов, – дай сбежать!

– А самому к стенке за тебя? Нет... Что мог – сделал для тебя. Не взыщи... Направят тебя в лагерь, там тоже живут...

К вечеру телега загромыкала по булыжным мостовым Полоцка. В канцелярии полицейского управления детина сдал рапорт, взял расписку о доставке арестованного – и они расстались с Гривцовым, чтоб никогда больше не встретиться.

Дежурный по полицейскому управлению, весь какой-то мятый, в мятом галстуке на мятой рубашке, мрачно уставился на Гривцова:

– Что они там мудрят? На кой ляд ты мне сдался? Идиоты...

Он покрутил ручку полевого телефона:

– Алло! Гестапо? Полевой полицией доставлен захваченный парашютист. Да, показания дал. Через полчаса будет у вас. Есть.

Гестаповец, подтянутый светловолосый парень в черной форме, с серебряным жгутом на правом плече, бегло полистал показания Гривцова:

– Летчик? – он говорил по-русски с сильным акцентом, но, видимо, свободно.

– Борттехник, – мрачно сказал Гривцов.

– Борттехник?

– Ну да. Тоже летчик, но не пилот, – Гривцов изобразил, как держат штурвал, – техник, – он сделал жест, как будто крутил ключом гайки.

– Где и когда сбит?

Ничем не рискуя, Гривцов сказал правду. Гестаповец записал.

– Каждое твое слово будет проверено. За неправда – расстрел.

Гривцов старательно повторил то, что уже было записано в его «показаниях», после чего был отправлен в камеру и заперт.

Наутро всех арестованных – человек двести – выстроили в каменном квадрате двора. Автоматчики молчаливой цепью окружили их и пересчитали. На крыльцо вышел толстый офицер с моноклем и произнес короткую речь, повернулся и вошел в дверь обратно.

– Вы все – преступники против нового порядка, – лаконично перевел переводчик. – И всем вам одно наказание – расстрел.

Мертвая тишина повисла над двором. Скрипели сапоги у переминавшегося с ноги на ногу автоматчика.

– Хана, – произнес чей-то ломкий голос.

Переводчик снова открыл рот:

– Но германская армия в своем победоносном движении практически покончила с остатками Красной Армии. Вы не опасны могущественной Германии. Вы прощены, и вам даруется жизнь.

Автоматчики пихнули пленных под ребра автоматами, унтер-офицер скомандовал, и оборванная колонна потекла со двора на улицу.

Их вывели за город на огороженный тремя рядами колючей проволоки пустырь. Вышки с пулеметами стерегли его. Ворота распахнулись.

– Вот и концлагерь, – сказал кто-то в колонне.

...О четырех месяцах в концлагере у Гривцова осталось позднее воспоминание как об одном кошмарном дне, бесконечно длинном. Рыли руками ямы в земле. Выменивали на остатки одежды пустые консервные банки – в банки по утрам разливали по черпаку баланды, и надо было иметь свои – а их не хватало.

Расспрашивали «новеньких» о новостях – новости были обнадеживающие... Летнее наступление у немцев, вроде, провалилось, и на юге наступаем мы.

Как-то в сентябре их выстроили: полторы тысячи живых скелетов. Прибыло какое-то немецкое начальство.

Группа офицеров, похлопывая стеками по лаковым голенищам, прошла вдоль строя.

– Кто есть рабочие по металлу, три шага вперед! – скомандовал комендант лагеря.

Полсотни человек шагнуло вперед. Их отвели отдельно.

– Кто есть механики и водители машин и механизмов, три шага вперед!

Гривцов вышел среди прочих.

Их рассортировали. Германии, истощившей армейские ресурсы в летнем сражении сорок третьего года, требовались рабочие руки. Так Гривцов оказался за рулем бензозаправщика – огромного французского «Рено» – на немецком аэродроме.

Было предупреждено: за диверсию или побег, устроенные одним, расстреливается десять. Работали под дулами пулеметов с вышек.

Гривцов трезво рассудил, что лучше погибнуть десяти, но с какой-то пользой, чем этим же десяти работать на врага. И когда смотрел на ровные ряды стоящих «Юнкерсов», бессильная тоска скручивала его: улететь к своим!.. Пробраться в заправленный самолет! Хотя попытаться, хоть что-то сделать, чем жить так... Но охрана работала четко, и этой его мечте не суждено было сбыться.

На четвертый день, проклиная себя, он готовил самолеты к ночным полетам. Его семи-тонная автоцистерна была заправлена у вкопанных в землю баков, немец махнул в полутьме – «пошел!»

«Была не была!» – Гривцов вывернул руль, мотор взревел, ломая мелкоколесье бензозаправщик выскочил на дорогу и понесся на шлагбаум.

Часовой у шлагбаума заорал, отскочил и поднял автомат, но Гривцов шевельнул рулем, толчок, отброшенный немец исчез под колесами, удар, хруст, отлетел сломанный шлагбаум, и бензозаправщик, набирая скорость, понесся прочь от аэродрома.

Гривцов гнал сейчас машину по той же дороге, которой их несколько дней назад вели сюда. Вскоре здесь должны были показаться река и мост.

Он не доехал до моста, потому что два мотоциклиста с пулеметчиками в колясках вылетели с аэродрома ему вслед, и очереди прошли баллоны, машина осела, завиляла и потеряла скорость. Решив испытать последний шанс, он на повороте, где его левая дверца была скрыта в сгустившейся уже тьме от глаз преследователей, выдвинул до отказа сектор ручного газа и выбросился из кабины на траву.

Дорога к мосту шла под уклон, и разогнанный бензозаправщик – семь тонн авиационного бензина – воя двигателем катился на мост. Обода бешено вращались в спущенных баллонах, резина дымила. В недоумении и панике охрана моста открыла стрельбу вверх. Заметались лучи подъезжавших мотоциклистов. Бензозаправщик влетел на настил, подпрыгнул, снес перила и, переворачиваясь, рухнул вниз, на пологий берег реки. Ударил столб желто-багрового пламени, огонь облизнул край моста, охрана забежала с ведрами, мотоциклисты спешили и полили очередями останки несчастной машины.

Гривцов этого уже не видел, потому что, выбросившись из кабины, откатился за кустик и приник к земле, а как только мимо него проскочили в темноте мотоциклисты, он бросился подальше от дороги – сначала на четвереньках, потом бегом, – держа направление к реке.

Взрыв дал ему время для побега. Пока горит – пусть думают, что он там, в кабине. А когда погаснет – еще посмотрим, где он будет тогда.

Когда погасло, был он посреди реки, километрах уже в двух ниже по течению. Близился октябрь, вода была холодна, и задача стояла – продержаться на плаву как можно дольше, а уже течение пусть несет само.

Через час левую ногу свела судорога, но он был готов к этому, и руками стал грести к берегу. По его расчетам, от моста его отделяло сейчас километров шесть.

Берег сделался неразличим в ночи. Шея затекла, и держать голову над водой делалось все труднее. Руки делались чужими, не слушались. Он хрипел, все чаще заглатывая воду.

...Качаясь, он сделал несколько шагов по песку и рухнул. Когда очнулся – уже вышла луна, и в ее свете выступил кустарник, которым порос берег, и вдали – зубчатая черная стена леса.

Он достиг этого леса к рассвету и шел не останавливаясь вглубь его весь день и всю следующую ночь. На рассвете он упал и заснул.

Проснулся он, как от теплого толчка, от Катиного голоса:

– Эй... Ты живой?..

IV

Он вскочил, ничего не соображая спросонок, и очумело уставился на пожилую женщину в крестьянском платке. Почему Катя так состарилась?! И тут же, окончательно проснувшись, понял, что к Кате, разумеется, эта женщина не имеет никакого отношения...

– Ты кто? – спросила женщина.

И Гривцов задумался: а кто он сейчас? Летчик? Беглый заключенный? Окруженец? Наконец, проговорил:

– Свой я, тетка. Летчик. Из лагеря бежал. Поест нет у тебя?

Она протянула корзинку с ежевикой. Он в несколько горстей сунул ягоды в рот, сжевал.

– Давно в лесу плутаешь? – спросила женщина.

– Три дня как бежал... Немцы есть в деревне у вас?

– Стоят, паразиты...

– Много?

– Двенадцать человек. С машиной.

– А партизаны, не знаешь, есть здесь где?

– Откуда ж мне знать...

– А до наших, до линии фронта далеко?

– Ой, далече...

Гривцов вдруг почувствовал приступ слабости, голова закружилась, он покачнулся и сел на землю. Должно быть, лицо его побледнело, потому что женщина посмотрела на него с жалостью, вздохнула и промокнула глаза уголком платка.

– Далеко до вашей деревни?

– Версты три.

– Принеси поест, а...

– Сегодня не могу. Детишки у меня... И в лес идти второй раз если – немцы заметят, подозрение будет...

И Гривцов увидел, что лет-то ей немного. Может, на несколько лишь больше, чем ему... Несладкая, видать, жизнь-то, что чуть не старухой выглядит...

– Ладно, – сказала она, подумав, – иди со мной.

Он поднялся, с удивлением чувствуя, что дрожат ноги.

Они шли с полчаса, пока не выбрались через заросли к обвалившейся от ветхости охотничьей избушке.

– Вот здесь жди меня, – велела она. – Завтра с утра приду. Напиться захочешь – ручей рядом.

Он следил из окна, сидя на чурбаке, как она уходит в своем выцветшем платке, тяжелой крестьянской поступью, потом лег на полусгнившие нары, подумал, слез, забился под нары на пол, поглубже, чтоб было его не заметить, если кто войдет, закрыл глаза и от слабости потерял сознание.

Она пришла через сутки и из своей корзинки достала из-под листьев укутанный в тряпицу каравай свежее испеченного хлеба. Хлеб пах головокружительно. Гривцов вдруг подумал о голодных детишках, ждущих ее дома, в разоренной войной избе, о мужике ее – есть он еще где на свете, нет его?.. – о хлебе этом, взятом от собственных детей, и от голода, жалости и слабости вдруг заплакал.

– Оголодал, милый, – сказала женщина. – Как звать-то тебя?

– Андреем, – сказал он, дрожащей рукой ломая краюшку.

– Много не ешь сразу... Тяжело животу будет. Дня на три растяни. На третий день, может, придет к тебе кто... Про меня – молчок, понял?..

Она повернулась и быстро исчезла.

Три дня в избушке он ломал себе голову: прийдет она к нему партизан? Или еще что-нибудь непредвиденное с ним стряется? И что делать, если никто не придет? Пробираться на восток?

По ночам примораживало, октябрь наступил, и он дрожал в своем жалком тряпье.

Трое суток прошли. Хлеб был съеден до последней маленькой крошки. Гривцов решил ждать еще сутки, а следующей ночью идти на восток.

Он не спал, когда услышал в лесной темноте у крыльца тихие шаги. Негромкий уверенный голос приказал:

– Кто тут есть? Выходи!

– Ребята! – сказал Гривцов. – Я свой, ребята!

– А вот посмотрим сейчас, какой ты свой...

Луна светила вовсю, бросая на поляну причудливые зубчатые тени сосновых вершин. При ее свете трое придирчиво исследовали Гривцова, похлопали, обыскали.

– Из лагеря, говоришь, бежал? – с издевкой произнес тот, кто приказал выходить, хотя Гривцов еще ничего не говорил. – А вот сейчас проверим, из какого такого лагеря.

– И отправим обратно, – пообещал хриплый бас. В руках обладателя баса был короткий немецкий карабин.

«Полиции? Неужели продала? Или проверка, провокаторов боятся? Не шлепнули бы под горячую руку...»

– Закурить дайте, ребята, – попросил Гривцов.

– Курить у самих нема, – ответил третий, по голосу – совсем мальчишка.

«Тогда – не полиция. Те должны от немцев курево получать».

Допрос был краток.

– Когда бежал?

– Шесть суток назад.

– Где сидел?

– Аэродром обслуживал.

– Немцев обслуживал, сволочь... Что делал?

– На бензозаправщике.

– Как бежал?

– Рванул через шлагбаум.

– Почему не пристрелили?

– Стемнело уже. Били по скатам. Я выпрыгнул на повороте – не заметили.

– Почему не гнались?

– Бензозаправщик на мост влетел, рухнул и взорвался. А я – ползком к реке, и вплавь.

– Складно врешь.

– Да не вру я, ребята! – взмолился Гривцов.

Басистый с карабином мирно прогудел:

– Ладно... Брось ему душу мотать, Яшка. Все сходится ведь.

Яшка возразил:

– А руки я ему все-таки свяжу!

К утру Гривцов увидел партизанский лагерь.

В его представлении партизанский отряд был чем-то вроде усиленной отдельной роты, напичканной подрывными средствами. Партизанский отряд оказался: два десятка человек, в возрасте от пятнадцати до пятидесяти, одетых кто в нашу форму, кто в немецкую, кто в штатское. Столь же пестрым было вооружение: от крупнокалиберного авиационного пулемета Кольта, добытого не иначе как с нашей сбитой «Аэрокобры» или «Тандерболта», до обшарпанного обреза, сделанного из трехлинейки еще в гражданскую войну, вероятно. Лица небритые – а чем особенно-то побрееешься? Отношения не военные, а скорее, какие-то домашние: «Петька, вали в караул – сегодня твоя очередь! – Почему я! – Давай-давай!»

Над землянками поднимались в утреннем туманце уютные дымки. Пшениной кашей пахло, оружейной смазкой, крутым мужицким духом; пила повизгивала где-то рядом.

Командир, озабоченный бородач в ватнике, жестом велел вести Гривцова к нему. В прокопченной землянке сели за дощатый стол. Гривцов коротко изложил свою одиссею.

– Хлебнул, браток, хлебнул. – Командир пошарил в ящике, достал кисет и самодельную деревянную трубочку. – На, покури. Заслужил.

И пока Гривцов с наслаждением окутывался дымом крепчайшего самосада, он внимательно буравил его маленькими карими медвежьими глазками.

– Ну что, – спросил испытующе, – партизанить будем?

– Партизанить, – повторил Гривцов. – А... летчиков здорово не хватает. С Большой Земли связи нет у вас?

– У отряда Мацилевича была летом связь, – сказал командир. – У него ребята с Большой Земли работали, железнодорожные мосты рвали. Вот это были спецы! К одному мосту – ну никак не подойти было. Пулеметы кругом натканы, сигнализация – прямо как в швейцарском банке! Так они что придумали: за километр сверху по течению пустили чурбаки, а один сидит в лесу на самой здоровой сосне, на вершине, с биноклем, и по часам засекает секунды – сколько надо чурбаку, чтоб доплыть до моста. Потом сколотили плот, к нему – поперечные рейки, чтоб он между быками пройти не мог, на плот – взрывчатку, бикфордов шнур отмерили, и ночью пустили. Доплыл плотик, встал под мостом, и тут же рванул! Одно удовольствие!

– А связь? – спросил Гривцов, холодея от внезапной надежды.

– Со связью тоже была смехота. Подрывников этих выбросили с парашютами ночью, ну, радистка их и села на верхушку сосны, зацепилась парашютом и повисла. Ей бы подождать, пока мужики соберутся и начнут ее искать, а она давай по инструкции ножом стропы резать. Молодая – старательная и глупая. Это иногда одно и то же. Ну, перерезала стропы и грянулась с двадцати метров. И смешно, и жалко девчонку... Сбросили им вторую – они ее неделю ждали, искали, – нашли: ободранная, без рации, пистолетик держит и пищит: «Летчика тащите! Летчика тащите!»

– Я этот летчик! – заорал Гривцов не своим голосом. – Я! Где она?!

Командир ухватился двумя руками за волосы, зашевелил бородой и стал со вкусом хохотать:

– Ох-х! Ха-ха-ха!.. Где вас таких... ха-ха-ха! берут только! Простое дело... ха-ха!.. сделать не можете... ой...

Просмеявшись и вытерев глаза, он глубоко вздохнул, переведя дыхание, и сообщил:

– Они на днях уйти должны были.

– Куда уйти?!

– Куда! В отпуск! В ресторан! На Большую Землю уйти должны были.

– А радистка жива? – со страхом спросил Гривцов.

– Почему ты пошел в летчики, а не в подрывники? – поинтересовался командир. – Работал бы с ней вместе. Это что, твоя девчонка, что ли?

– Ты, братишка, до войны не иначе артистом на эстраде работал, – со злостью на его бессердечный юмор сказал Гривцов. – Не конферансье?

– Не, – сказал командир. – Я до войны в Минске, в институте, историю преподавал. Интересная наука, знаешь? Очень настраивает на юмористическое отношение к происходящему.

– А у тебя-то самого никто в войну не погиб?

– У меня-то самого все погибли, – ответил командир спокойно. – Но головой об стенку с горя мы будем биться после войны. Когда победим. Если кто доживет. А сейчас воевать надо. А воевать надо спокойно и по возможности с юмором. Это помогает лучше соображать.

Он в молчании набил трубочку, закурил, вздохнул:

– Через пару дней придет связной от Мацилевича. Узнаем, что там делается. И решим, как с тобой быть. Поживи у нас пока...

При последних словах Яшка, скуластый крепышок в немецкой подрезанной шинели, который ночью допрашивал Гривцова на поляне, сунулся в дверь:

– Что значит «поживи»? Пусть на задание сходит, а я присмотрю за ним, чтоб не сбег! Проверим, какой он такой летчик.

– Яков, – сказал командир ласково, – пошел вон. – И, когда дверь закрылась, улыбнулся Гривцову: – Яков прав. Проверка, знаешь, – основа доверия. Тебе же самому спокойнее будет, если с нами попартизанишь немного. И здесь спокойнее будет, и на Большой Земле, когда выйдешь туда. Доверие – оно, знаешь, тяжело заслуживается. Тебе из чего стрелять больше нравится?

– Из пушки! – сказал Гривцов зло.

– Яков! – позвал командир. – Дашь ему пострелять из пушки.

– Откуда пушка? – спросил Гривцов уже с интересом.

– Для гостя у нас все найдется.

«Пушкой» оказался сорокадвухмиллиметровый немецкий ротный миномет. Это Гривцов выяснил на следующее утро, когда, накормленный горячей пшенной кашей, он сутки проспал в командирской землянке и был разбужен Яшкиным тычком: – Вставай, Чкалов! Пошли повоюем немного...

Яшка оказался командиром отделения. Отделение – те двое ребят, с которыми он ночью и пришел за Гривцовым в охотничью избушку. Оказалось, что несмотря на типично штатскую внешнюю разболтанность, дисциплина в отряде железная. Каждый отвечал головой за порученное ему дело, – на прочее внимания не обращалось.

Они позавтракали поплотней, взяли сухарей, Яшка помусолил самодельный план местности и стал навьючивать на Гривцова миномет.

– Почему я?

– Чтоб служба медом не казалась. Шагом марш!

И капитан Гривцов, скрючившись под тяжестью трофейного немецкого железа, затопал под командой вчерашнего колхозного разгильдяя Яшки.

К вечеру пришли на место. Яшка полазил по кустам:

– Объясняю задачу. Здесь деревянный мост через речку. Здесь – пост охраны. Здесь – дом, где живет охрана, два с половиной километра от нас. Двадцать ноль-ноль – время построения и проверки этих аккуратных. Вот мы их и угостим.

– Потом они нас догонят и так угостят – не унесем, – усомнился басистый с карабином, Николай.

– Объясняю для несознательных: они нас не угостят. Потому что мы отделены от речки и от дороги километром отличного болота. И жалкая дюжина фрицев никогда не сунется ночью в болото, за которым лес. Вопросы?

– Промажем, – сказал Гривцов.

– А ты не промажь, – недобро сказал Яшка.

– Да я же не минометчик! И таблиц стрельбы у вас нет! И заряды наверняка сырые!

– Не саботируй, – предупредил Яшка. – Мы стреляли – и попадали иногда. А ты – человек с военным образованием, если не врешь.

Гривцов засопел над самодельным планом, пытаясь определить поточнее разницу в высотах и расстояние. Яшка достал из кармана прицел и вставил в корзинку миномета. Басистый вынул из ящика мину и нацепил на ее хвост три круглые колбаски зарядов.

– Давай по мосту хлопнем для пристрелки, пока не стемнело, – предложил Гривцов.

Яшка посмотрел на трофейные часы:

– Десять минут осталось. Ну, хлопни без минуты восемь.

Без минуты восемь миномет хлопнул, и мина взорвалась в полукилометре от моста. Гривцов быстро подкрутил прицел, Яшка опустил в ствол вторую мину, и она пришлась далеко за домиком охраны. Оттуда высыпали почти неразличимые в бинокль фигурки – смеркалось, – и третья мина легла левее и ближе.

- Лапоть ты, – сплюнул Яшка.
 - Рассеивание большое, – виновато оправдывался Гривцов.
 - Большое, маленькое... Привередничаешь! Живо! Пять мин есть.
- Четвертая мина хлопнулась во дворе.
- Вот так давно! Беглый огонь!

Оставшуюся они послали на том же прицеле.

- А теперь спокойно даем драла!

Они вернулись утром. Яшка отрапортовал о выполнении задания. Командир посопел:

- Хоть в одного-то попали?
- Восьмерых уложили, – ответил Яшка, не сморгнув глазом.

Командир пошевелил бородой, хмыкнул и пошел к себе. Там засветил коптилку, достал огрызок карандаша и амбарную книгу и принялся писать сопроводительную бумагу на Гривцова. Связной из отряда Мацилевича дожидался тут же. Судьба сбитого, плененного, беглого и партизанившего летчика была им уже обговорена.

- Ты, что ли, Гривцов? – спросил связной, выйдя к костерку.

– Я.

- Чего радисткой интересовался?

– Да так, – глупо ответил Гривцов, чувствуя, как у него отчаянно заколотилось сердце. – А... она где сейчас?

– Они с другим отрядом сейчас работают. Вскоре уходить собирались. наших ребят подрывному делу обучили вполне. Отзывают их, вроде.

- Это далеко от вас?

- А вот послезавтра придем – узнаешь все, что тебе положено.

И послезавтра Гривцов узнал все, что ему было положено. Положено ему, как оказалось, было не так много. Но ему хватило. Главное – он узнал имя радистки...

Отряд Мацилевича был хозяйством солидным: полсотни человек, две телеги, четыре лошади и даже одна корова, дававшая молоко для раненных. Мацилевич, бывший школьный завхоз, любил обстоятельность.

- Отправим тебя завтра на Большую Землю, – сказал он.

- А... подрывники те где?

- Два дня назад пошли.

- Я их не нагоню?

– Это вряд ли. Я своих покалеченных отправляю с проводником, через болота идут. Сурожские ворота. Две недели ходу. Они быстрее идут... А то оставайся? Мне военные нужны. Молока дам.

- А выйдем мы в одно место?

- В одно.

- А задержаться они не могут?

– На той стороне, у наших, может и задержатся. А тут – вряд ли. Скорее вы задержитесь. ...Лошади были запряжены. Четверо тяжелораненных лежали на четырех тележках-волокушах, способных проходить через болото. Еще четверо шли сами. Гривцов тащил здоровенный мешок с продуктами. Проводник – седобородый дед с наганом – занял место во главе колонны. Замыкал движение вчерашний связной – Данила – с автоматом на шее.

Мацилевич заботливо обозрел обоз.

– Чтоб лошади мне были доставлены обратно, ясно! Без лошадей не возвращайтесь! Привезти мне: запалы для мин, гранаты и пару бы ручных пулеметов. Бинты. Патронов сколько сможете. Ну, с богом!

Лошади тронули. Волокуши зашуршали по палым листьям.

Лес был полон осенним солнцем, неярким и прозрачным. Разноцветные листья кружились и падали в синеве. И казалось все таким мирным и тихим, как будто не было на свете никакой войны...

На первом ночном привале Гривцов не спал. Раненые были накормлены и уложены, кони спутаны и пущены пастись, топливо для костра заготовлено. Лежал Гривцов на спине, смотрел на звезды над лесом, и перебирал, перебирал в голове то, что узнал про Катю...

...подрывники были спокойные ребята и, потеряв радистку, рацию ее припрятали в лесу: вдруг, скажем, у партизан окажется какой-нибудь армейский радист или просто радиолюбитель? Вариант с подстраховочным радистом был предусмотрен заранее, но мало ли что... Они разожгли в условленную ночь костры, самолета не дождались, и начали, как и было условлено, искать связь с отрядом Мацилевича. Услышав стрельбу в деревне, куда заходили только вчера, решили в бой не ввязываться, услышали шаги бегущего человека, – и получили свою радистку прямо в руки...

Но – жива ведь! Жива! И сейчас идет домой, к нашим – в каких-то нескольких десятках километров перед ними!

Надо же случиться такому глупому совпадению: чуть не полгода быть в паре сотен километров друг от друга, и почти встретившись – разминуться на два дня!

Посокрушавшись, Гривцов стал строить планы на будущее. Такова уж человеческая природа: достаточно человеку избежать смертельной опасности на сегодня, как он, едва переведя дух, немедленно начинает строить планы на будущее.

Не дадут ли ему несколько суток отпуска после всех передрыг? Но как он тогда Катю найдет? В армейской разведке? Там с ним и разговаривать не станут – у них своя секретность... написать ее маме? Куда?.. Не может быть, чтоб никаких нитей не нашлось! Ну, выйдут они вслед за Катиной группой несколько дней спустя, там командование части, всегда можно что-то объяснить, попросить... И с этими мыслями он уснул.

V

На шестой день они подошли к болотам и увидели следы недавнего привала: кострище, наломанные ветки.

– Та группа, – сказал проводник. – Ее Евсей Антипов ведет, той же дорогой. Эту дорогу у нас человек, почитай, семь-восемь всего и знают. Сурожские ворота... Потому и не держит немец тут фронт, что держать его негде – топи кругом. Только тропочкой и пройдешь, да и то по воде иногда.

Он выломал себе шест, посмотрел внимательно по сторонам, перекрестился и ступил в ржавую и вонючую воду болота, ведя в поводу первую лошадь. Аккуратно вытянувшись в ровную цепочку, следом за ним вошли в болото остальные, ведя в поводу лошадей с тяжело-ранеными на волокушах. Данила с автоматом плюхал метрах в двухстах сзади. Гривцов шел перед ним.

Через болото шли полдня и заночевали на островке сухой земли, опять со следами недавнего привала.

– Вот и полпути, – сказал проводник. – Неделю идем. Через неделю придем, ежели ничего не стрясется.

Они шли неделю, и за неделю с ними ничего не стряслось. К вечеру пятнадцатого дня, стоя на сухой земле, проводник сказал:

– Ну, вот и прошли, слава те господи. Теперь мы у наших уже. Там за лесочком взгорок будет – с него уже все видно станет. – И вытащил из кармана жестяночку:

– Закурить по разу на всех, ребята. Премия. Теперь можно.

Все разом оживленно загалдели, вертя самокрутки из заботливо сложенных квадратиков старой пожелтевшей газеты, когда проводник сделал жест рукой:

– Цыц! Тихо!..

И в полутьме все расслышали далекий немецкий говор.

– Всем – на месте, – приказал Данила и перерднул затвор автомата. – Я пойду на разведку.

Он бесшумно исчез в кустах. Остальные с напряжением вслушивались, переглядывались. И вдруг раздался смех, русская родимая ругань и откуда-то из-за зарослей голос Данилы закричал:

– Эй, ребята! Вали сюда, все в порядке! Давай-давай!

Тревога оказалась напрасной: наши бойцы конвоировали группу пленных немцев. Двое немцев что-то не поделили между собой и принялись препираться, – их и услышал проводник.

– Ну, вот и пришли мы, – сказал проводник, когда бойцы угостились его табачком и посмеялись над их страхами. – Теперь – к месту, ребята.

Через два часа их маленький обоз окликнул часовой:

– Стой! Кто идет?

– Свои идут, – прогудел проводник. – Раненые партизаны вышли с временно оккупированной территории.

– Старший – ко мне. Остальные – на месте. – Часовой был по виду совсем мальчишка и действовал строго по уставу.

С сопровождающим их сержантом они подошли вскоре к штабу полка. Командир, усталый майор, покрутил ручку полевого телефона, вызывая особый отдел дивизии:

– Из тыла вышли ко мне. Да, партизаны. Погоди, тут еще один, говорит – сбитый летчик, из концлагеря бежал. Да. Хорошо. Есть.

И усталый майор внимательно посмотрел на Гривцова:

– Тебя отправлю в особый отдел – на проверку. Там все расскажешь. Вы, – кивнул он проводнику, – устраивайтесь пока, утром будет распоряжение насчет раненых.

Гривцов повернулся к Даниле:

– Ну, спасибо, ребята.

– Пожалуйста, – ухмыльнулся Данила. – Давай, скоро опять летать будешь! Вдруг еще и свидимся после войны...

Оба они прекрасно знали, что свидятся – вряд ли... На войне почти любая разлука – это навсегда... Да жива надежда.

Проводник погладил свою бороду, пожал руку Гривцову, лошади натянули построжки – и партизаны исчезли: раненые – чтоб вскоре попасть в госпиталь, а после – кто в армию, на фронт, кто – на тыловую работу, отвоевав свое на этой беспримерной войне.

– Садись, не стой, – майор кивнул Гривцову на самодельный табурет. – Давно сбили тебя?

– Товарищ майор, – Гривцов сглотнул от волнения, – тут наши дня три назад не выходили?

– А что? Знакомые там у тебя?

– Так точно.

– Кто?

– Девушка. Радистка. Была такая? Темноволосая, невысокая?

– Была, – утвердительно кивнул майор. – Подруга?

– Жена, – сказал Гривцов, со странным чувством слушая свой голос, произнесший вслух это слово.

– Дела... – сказал майор.

– Где они сейчас? – спросил Гривцов, прекрасно зная, что на этот вопрос майор ответить не в состоянии.

– Попробуй в особом отделе узнать, – посоветовал майор. – Сам понимаешь – откуда мне знать, куда такие группы по возвращении направляются. Ну, сейчас дам тебе сопровождающего, пойдешь в дивизию.

Ночью Гривцов сидел в землянке начальника особого отдела дивизии и, пересиливая дремоту, пересказывал свою длинную и причудливую историю. Особист спокойно кивал.

– Так как же ты все-таки, капитан, в плен-то попал, а? – спросил он наконец.

– Раненый, – снова сказал Гривцов. – Пистолет перезаряжал, еще одна обойма была, а они добежали, ну и... прикладом по голове.

– А бежал как?

– На бензовозе, – Гривцов снова пересказал этот эпизод. – Стоп, – вспомнил он, хлопнув себя по лбу, и достал из кармана сложенную вчетверо бумагу – «сопроводительное письмо» командира партизанского отряда.

Особист дважды прочитал «сопроводилровку» и заметно смягчился:

– Так ты и попартизанить успел?

– Немножко, – скромно сказал Гривцов, не вдаваясь в подробности – как они стреляли из миномета наугад по домику охраны.

Особист закурил «Казбек» и вынес решение:

– Отправлю тебя завтра в армейскую контрразведку. А там уже направят тебя куда надо. А что ты сидишь как на иголках? Спросить что хочешь?

Гривцов попытался объяснить, что ему очень-очень нужно узнать, где можно найти радистку из группы, которая вышла из немецкого тыла несколько дней назад.

– А вот в контрразведке армии, может, что и узнаешь. А вообще – не мальчик, сам понимаешь – знать это тебе не положено. Да и мне, честно говоря, тоже не положено.

Но ничего нового не узнал Гривцов и в армии... Все, что он мог сделать – это написать письмо на номер полевой почты, где сообщал сведения о себе, и обещал, как только его положение определится, сообщить и свою полевую почту. И оставалось ему гадать: застало ли Катю письмо, или она уже на новом задании, или ее перевели куда-нибудь, и чья-то равнодушная рука поставит на его письмеце казенное «Адресат выбыл», и – ищи ветра в поле...

... Уже наступил ноябрь, серенький, с мелким снежком, который завивался поземкой под ветром, когда в сумерки капитан в новой необмятой шинели, в фуражке с летными крылышками, шагнул в блиндаж командира дальнебомбардировочного полка и доложил:

– Товарищ подполковник! Капитан Гривцов для дальнейшего прохождения службы прибыл в ваше распоряжение!

Командир полка вытаращил слегка глаза и с радостным недоумением переспросил:

– Гривцо-ов?! Андрей!..

– Так точно. Я.

– Откуда?!

– Долго рассказывать, товарищ подполковник. Вот, – и Гривцов протянул аттестат, командировку, сопроводительную записку.

– Садись... Ну, прибыл! Стариков-то у нас осталось – раз-два и обчелся. Садись, что стоишь. Петр-ренко!! Петренко, сообрази-ка на стол быстренько.

Они не успели выпить по первой, как весть о том, что вернулся сбитый в мае Гривцов, с быстротой молнии распространилась по полку. Первым примчался техник Никодимов:

– Товарищ капитан! Товарищ капитан... – он неловко откозырял и обнял Гривцова. – А все... Вы один вернулись?

– Один, брат, – сказал Гривцов и вздохнул. – Помянем их... память...

Встав, они в молчании помянули их стопкой пахнущей бензином армейской водки, командир полка, капитан, и бывший его техник, и не помянули многих – на войне всех не помянешь... И лишь вечером, укладываясь спать в отведенной ему землянке, лежа в темноте

и повторяя про себя Катину имя, думал Гривцов обо всех тех, с кем столкнула его судьба там, в немецком тылу, и без кого – как знать? – не был бы он сейчас здесь.

Он никогда не узнал, как в ночном лесу отстреливался от немцев его штурман, шутник Жора Гринько, который так хотел – в нарушение приказа – чтоб Гривцов вернулся обратно на аэродром вместе с Катей. Как пересчитывал выстрелы, сберегая последний патрон во второй обойме для себя, но из темноты вылетела, метя прямо в горло ему, овчарка, и последняя пуля из Жориного пистолета досталась ей, а сам он получил очередь в живот от щуплого ефрейтора, ее проводника.

Он не узнал, что старуха Глазычиха, приютившая их с Катей, была пристрелена полицией на пороге своей избы еще тогда, когда Катя бежала, задыхаясь и всхлипывая, по лесу, а сам он, без сознания, бился головой о дно телеги, которой правил с белой повязкой на рукаве и пулеметом «машиненгевер» между колен, – не утеравший человеческого облика полицейский Крышук.

Не узнал он и того, что сам Крышук в конце концов сбежал к партизанам, на коленях каялся в грехах и просил смерти от руки своих, и погиб, смывая грехи кровью, громя с партизанами проклятую полицейскую управу.

Что недоверчивый Яшка был взят во время налета на немецкий гарнизон в плен, согласился пойти служить в полицию и сгинул вместе с отступавшими немцами в сорок четвертом году.

Что насмешливый бородач, командир партизанского отряда и бывший доцент-историк, прикрывая с пулеметом от карателей отход своего отряда, был взят в плен и во время допросов полиция хохотала от его злых и безжалостных шуток – и, вспоминая, хохотала и после того, как он был повешен.

А хозяйственный командир другого отряда, завхоз Мацилевич, в сорок четвертом стал офицером и кончил войну заместителем по тылу командира артиллерийского полка.

Ничего этого Гривцов не знал и знать не мог. И думал он об этом недолго. Как, впрочем, недолго думали о нем и его экипаже и те, с кем летал он в одном полку. У войны свои законы, и у памяти на войне тоже свои законы.

И вот по этим законам памяти на войне, гораздо больше, чем предстоящие боевые вылеты, необозримое количество дней и недель войны впереди, зенитный огонь и истребители, волновало сейчас капитана Гривцова то, где Катя. Потому что больше у него не было родных людей, а за родных волнуемся мы больше, чем за себя.

Он ждал почему-то, что Катя напишет. Ведь ему посчастливилось попасть в свой полк, и номер полевой почты был прежним. И в этом счастливом ожидании он и уснул, и во сне война кончилась, на аэродроме приземлился серебряный сверкающий самолет, и из него вышла счастливая Катя в белом платье...

А наутро в дверь сунулся адъютант полка и, хлестнув себя хлыстиком по голенищу надренного сапога, произнес:

– С планшетами – к командиру.

Гривцов пошел получать боевое задание.

– Так, – сказал командир полка, поставив задачу. – Гривцов, полетишь на «семерке». Пойдешь ведущим звена. Если прошлый вылет считать тебе за полвылета – в один конец, в другой ты пешком шел (летчики добродушно заржали), то этот будет сотым с половиной. Желаю успеха и лично тебе, капитан. Провожая вас в воздух и сажусь писать на тебя представление на Героя.

Машины ушли в воздух, и к ним пристроились сверху истребители сопровождения, и сжимая штурвал невольно думал Гривцов о том, майском, вылете, и все чудилось ему, что в бомбоотсеке – не стальные тела стокилограммовых фугасок, а хрупкая девушка в комбинезоне,

и на спине у нее парашют, на груди автомат, на поясе всякая дребедень, а через несколько часов они обязательно вернутся на аэродром.

...После пятого вылета он перестал ждать письма. Он понимал, что если б было письмо – он бы уже получил его. Но надежда – всегда живет надежда...

И иногда сбывается. Не всегда так, как мы себе представляем.

– Гривцов – к командиру, – в очередной раз произнес адъютант с хлыстиком и в надраенных сапогах – вестник авиационного бога войны. Гривцов отправился к командиру, соображая, что мог значить этот вызов. Пришла звезда Героя? Так награды вручают на построении, при всех. Приехала Катя?! Это невозможно. Переводят в другую часть? Не хотелось бы... вдруг Катя разыщет его.

Командир полка был отменно зол.

– А ты, оказывается, любитель курортов с удовольствиями, капитан, – язвительно сказал он.

– Виноват, – удивился Гривцов.

– Виноватых бьют! – взъярился командир. – Не будь отправлено на тебя представление на Героя – вломил бы я тебе так, что своих не узнал!

– В чем дело, товарищ подполковник?

– Он не знает, в чем дело... Ну, стервец!..

Зазуммерил телефон.

– Да! Так точно, у меня, товарищ полковник! Да, вломил ему уже по первое число. Есть! Даю.

Он передал ничего не понимающему Гривцову трубку. Пожав плечами, Гривцов в нее отпартовал:

– Капитан Гривцов слушает.

Раздраженный начальственный баритон велел:

– Слушай хорошо, капитан. Очень хорошо, потому что это дело пахнет для тебя снижением, судом и всякими прочими неприятностями.

– Извольте представиться! – вспыхнул Гривцов. – Вины за собой не знаю! И с интересом выслушаю, в чем дело.

Баритон задохнулся от возмущения:

– Ты смотри, какой ершистый! Он «с интересом»... он «выслушает»!.. Полковник Иванович из разведки фронта с тобой говорит! Довольно с тебя такого представления? Вина твоя – ты лишил нас человека! В чем дело, говоришь, не знаешь? Интересно! Он не знает. Знаешь прекрасно! Ты знаешь Флерову?

Гривцов вздрогнул, и руки у него затряслись:

– Так точно! Знаю! Что товарищ полко...

– С ней то, что она не может быть отправлена на задание!

– Что с ней? Где она? – забыв субординацию, заорал Гривцов.

Неожиданно полковник спросил:

– Ты женат, капитан?

– Женат! – закричал Гривцов. Командир полка при этих словах удивленно поднял брови и с сомнением посмотрел в побледневшее от волнения лицо Гривцова.

– А что ж ты, негодяй, портишь девчонке жизнь и делаешь ей на фронте ребенка! – загрохотал баритон. – Много вас тут таких ухарей, а ей еще жизнь жить! Война идет, она такой же солдат, как ты! Что ж ты ей, паразит, наобещал, а?

– Да я на ней женат!! – заорал Гривцов. – На ней женат!

Баритон удивленно осекся.

– Ты, капитан, не морочь мне голову. Она не замужем, уж за это я ручаюсь – сегодня личное дело листал. Она, понимаешь, уверена, что ты героически погиб, а ты жив – и ни слуху ни духу.

– Да где она, товарищ полковник? – взвыл Гривцов, изнемогая от нетерпения.

– А где она, по-твоему, может быть в том положении, которое ты ей устроил? – с ледяной вежливостью поинтересовался полковник. – Отправлена в тыл. Рожать.

– Я ее люблю, – неожиданно признался Гривцов полковнику из разведки фронта, и даже сам удивился неуместности признания.

– Я за твою любовь выговор получил, – ответствовал полковник. – Так ты действительно неженат?

– Действительно.

– От этого, правда, не легче. Ты знаешь, как наказываются на фронте подобные штучки?

– Знаю... А что теперь делать?

– Ну, ты не девочка, чтоб мне такие вопросы задавать. Получишь по шее от своего начальства, на том дело и кончится. Ох, уж эти мне brave летчики... Твое счастье, что я добр. Так, говоришь, жениться на ней хочешь?

– Хочу.

– Кончится война – женишься... А вот где я, черт бы тебя драл, радисток на вас всех наберусь, таких любящих и неженатых?.. Ну, ладно. Скажи своему командиру, что я приказываю объявить тебе пять суток губы. Бывай здоров.

– Как ее найти, товарищ полковник? – торопливо закричал Гривцов.

– Найти? – миролюбиво уже переспросил полковник. – Это, брат, трудно... Ладно, – у нее, вроде, кто-то из родных есть, кому она письма писала. Личное-то дело ее ушло уже, понимаешь... Я прикажу спросить у девчонок, может, кто адрес знает. Перешлют на твою полевую почту.

Гривцов нетвердо стоял на ногах, сжимая в руке замолчавшую трубку.

– Ну? – спросил командир полка.

– Уехала, – сказал Гривцов.

– Кто?

– Катя.

– Куда?

– Рожать.

– Тьфу на тебя, – сказал командир полка. – С тобой-то что теперь делать? Ну?

– А, – весело засмеялся Гривцов, – со мной!.. Дать пять суток губы.

– Ну и прекрасно, – с облегчением сказал командир полка. – А то мне тебя в таком состоянии неохота было в воздух сегодня выпускать. Посидишь, отдохнешь. У нас, правда, помещения для гауптвахты нет, надо приказать ребятам из обслуживания, чтобы приготовили тебе какой-нибудь отдельный блиндаж.

Результатом этого разговора явилось то, что в морозный и солнечный февральский день почтальон, подрулив к столовой на своей мотоциклетке и привычно заорав: «Налетай, братва!» – сказал, подмигнув, Гривцову:

– Тебе письмишко, Герой. Пляши!

Гривцов дал щелчка почтальону, выхватил письмо, покраснел, воровато оглянулся и удрал в свой блиндаж. Там положил письмо на стол, зажег коптилку, закурил, походил рядом, хлебнул из фляжки, глубоко вздохнул и развернул треугольник.

«Андрюшенька, мой любимый и мой муж! Я знала, что ты все равно жив и мы все равно встретимся. Так много надо сказать тебе, что никакой бумаги для этого не хватит, и никакого времени, – пока не кончится война. Из войны я теперь на некоторое время выбыла, – и в этом мы оба виноваты. Но тут даже не подходит слово „виноваты“, потому что ты теперь – папа. А

сына зовут Андрей Андреевич, и он совершенно вымотал нам с мамой нервы своим неутомимым характером. Нужна, видимо, мужская рука. Что ж – все и будет – в свое время. А пока, в эту минуту, он спит, а я, полчаса назад получив письмо от одной своей девочки, с которой (зачеркнуто полевой цензурой), узнала о тебе, и что тебе после всех мытарств еще за меня досталось. Надеюсь, милый, что ничего уж очень страшного с тобой не сделали. Андрей, все будет хорошо, мое предчувствие меня еще никогда не обманывало, и мы с тобой еще выпьем настоящего шампанского и устроим настоящую свадьбу, хотя настоящее того, что уже было, и быть на свете ничего уже не может...»

Часть вторая

Светлой памяти летчика Ивана Григорьевича Богданова

Глава первая

Был СССР.

Был город Ленинград.

Было в Ленинграде издательство «Лениздат».

И была в издательстве том редакция историко-партийной литературы.

А редактором в той редакции работал некогда мой друг, замечательный писатель Олег Стрижак. Чтоб зарплату получать.

Он не только сам ее получал. Он и друзьям давал зарабатывать. Потому что издавала редакция в основном военные мемуары. А писали их ветераны войны. Когда-то они хорошо воевали и, малый процент, уцелели. Они много помнили и мечтали сохранить это для потомства. Но писали они чудовищно плохо. Невыразимо. Не их это было дело.

И редактор нанимал на договор литературных обработчиков. Нищих и безвестных профессиональных литераторов. Литобработчик брал толстенную рукопись и, вздыхая, матерясь и проклиная свою горькую участь, переписывал ее с начала до конца. Чтоб придать удобочитаемый вид.

За это ему платили деньги. От 30 до 70 процентов гонорара автора – в зависимости от того, насколько заново приходилось все писать.

Ветераны очень переживали. Литобработка их нервировала. Они дорожили своим словом. И, как правило, настаивали на всемерном освещении их личной роли и заслуги в Войне и Победе.

Итак, на дворе стояли семидесятые, расцвет брежневской эпохи; а мы были молоды, еще далеко до тридцати, – были нищи, веселы и самоуверенны.

Сентябрь стоял – теплый и солнечный, с желтой листвой.

Сентябрь стоял, а я сидел. Не в тюрьме сидел, а у себя дома, на улице Желябова, что сейчас называется взад обратно Большой Конюшенной. Пил чай, курил беломор, писал рассказ и никого не трогал.

Звонит телефон. Зараза.

– Здравствуйте, масса Майкл. Стрижак осмеливается беспокоить. Вы работаете?

– Привет. Ну в общем да...

– Двести рублей хочешь заработать?

Вопрос гадский. На шесть дюймов ниже пояса. Заработать всегда хочется. А работать для этого – никогда. Халтура!.. Шедевры писать надо.

Если наука полагает, что человек произошел от обезьяны, то я полагаю, что Стрижак произошел от Змея, который в райском саду наладил удачную торговлю яблоками.

– М-м-кхм!.. – мучительно отвечаю я.

– Слушай, подгребай в издательство. Всей работы будет тебе на один день.

– Да ну на фиг! – решаю я.

– Ты не представляешь, как это интересно! – говорит Стрижак. – Тут только ты можешь справиться! – льстит с матросской грубостью. – Ты же не знаешь, что я тебе предлагаю. Я предлагаю тебе написать на пятнадцати страницах историю Советской Дальнебомбардировочной Авиации! А?

Лесть – это агрессия на коленях. Всех льстецов я бы повесил. Но поскольку это не в моей власти, то слушать их все равно приятно. Я пострадал и пошел.

Что за люди заходили в ту редакцию! Что за судьбы, что за истории, что за невероятные случаи! Потрясающая, сногшибательная информация, состругиваясь с памяти, чтобы пропихнуть книгу сквозь игольное ушко военной и партийной цензуры, оседала в редакционной комнате.

И сейчас я расскажу только одну, одну-единственную из всех этих историй...

– А вот и наш лучший, самый (черт знает какой самый из всех) литоработчик Михаил Иосифович Веллер! – возвестил Стрижак, приветственно вставая из-за редакторского стола и простирая руки в белейших манжетах. – Мишенька, позволь представить тебе заслуженного летчика Ивана Григорьевича Богданова!

И я увидел на стуле между шкафом и окном некрупного, незаметного человека. Очень такого во всем среднего. Типичный пенсионер из толпы. Среднее сложение, средней плотности, среднее лицо, даже остатки волос какого-то среднего цвета между каштановым, седым и русым. Средней поношенности стандартный костюмчик неопределенно-темного цвета. Причем без всяких орденских планок, что для ветерана в официальном присутствии малотиично.

Он обернулся в профиль к свету, и стал заметен шрам через все лицо, от лба через нос и рот к подбородку. Шрам был широкий, сгладившийся, он придавал лицу некую старческую мягкость, бугристость, и тоже был незаметным, незапоминающимся.

Отставному шпиону полагается обладать такой внешностью, а не летчику. Невозможно составить словесный портрет.

– Прошу оценить! – рассыпался Стрижак в изъяснениях любви, как если бы мы были гомосексуалистами и он мечтал меня обольстить.

– Иван Григорьевич написал книгу о боевом пути своего полка, где о себе, командире полка, умудрился не сказать ни единого слова. Ты когда-нибудь такое встречал?

Он отмел скромно-протестующий жест автора и продолжал петь, как горнист, выводящий «захождение»:

– Я много объяснять тебе не буду, Иван Григорьевич сам все расскажет. Твоя задача – написать предисловие, где об Иване Григорьевиче тоже будет достойно сказано. Да-да, тут не надо скромничать, читатель должен знать.

Иван Григорьевич, отставной стало быть летчик Богданов, выглядел человеком, из которого слово лишнее вытянуть не смогло бы даже гестапо раскаленными щипцами. Проклинаю слабохарактерность, я дал себя уговорить на эту работу.

После чего нас дружески проводили за дверь и пожелали счастливого сотрудничества – мол, давайте, освобождайте помещение, у меня другие дела.

Идти нам было некуда, кроме как в скромный номер Богданова в гостинице. Жил он в Тульской области. Дорогой я пытался его «разговорить». Разговорчив он был не более статуи Суворова на Марсовом поле.

Ну что. Бутылку брать надо. Для разговора. Производственные расходы.

Захожу в магазин. Коньяк «Плииска» – пять двенадцать. Денег у меня нет. Симулирую доставание кошелька, обозначая позой, что согласен пить за счет собеседника. Хамство, в общем. Хотя, с другой стороны: я о тебе пишу – ты меня поишь. Короче, взяли.

И вот сели мы у него в номере, и роняет он отдельные слова, и ни слова о себе, и я сбегал еще за бутылкой – уже водки, и с закуской. И к концу только литра собеседник поплыл, отмяк. Дело такое, журналистское, опыт был. Раскрутить клиента – иногда не просто.

– Ладно, – говорю, – Иван Григорьевич, давайте по-простому, конкретно. Я вам задам несколько вопросов, а там видно будет. Не получится рассказывать – и бог с ним. Как вам больше хочется.

– Пожалуйста, – говорит. Очень добрый такой и вежливый. Просто замкнут до чрезвычайности.

Положил я бумажку, раскрыл ручку, закурил папироску. Спрашиваю:

– Иван Григорьевич, когда лично вы начали войну? Когда состоялся ваш первый боевой вылет? Помните?

– А как же. Двадцать второго июня сорок первого года. В шестнадцать ноль-ноль мы поднялись.

– Какая была задача?

– Обнаружить и бомбардировать скопления техники и живой силы противника на восточном берегу реки Буг непосредственно южнее города Брест.

– Так. А последний ваш боевой вылет?

– Тридцатого апреля сорок пятого года.

– И какая была задача?

– Бомбардировать укрепленные точки противника в районе рейхсканцелярии в городе Берлин.

– Ничего себе... – говорю. – Что называется – от звонка до звонка. Всю войну!

Молчит.

– Вы в каком звании и должности войну начали?

– Лейтенант, командир экипажа дальнего бомбардировщика.

– А закончили?

– Майор, командир бомбардировочного полка Aviации Дальнего Действия.

– Иван Григорьевич, награды у вас, конечно, есть?

– Конечно.

– Первую в войне когда и за что получили? Какую?

– Орден Красной Звезды. В июле сорок первого года. За успешную штурмовку колонны боевой техники противника восточнее реки Березина.

– А последнюю?

– А вот тридцатого апреля сорок пятого года. За успешную бомбардировку огневых точек рейхсканцелярии.

Банку он держал исключительно. Старая гвардия. Сталинский сокол. Я взял у него еще пятерку и сбегал за третьей бутылкой.

– И какая это была награда?

– Орден Кутузова второй степени.

– Позвольте. Но ведь это полководческий орден. Давали от командиров корпусов.

– Командование сочло.

– Командование – это кто?

– Маршал Гречко.

– А прямо тридцатого же апреля – это как возможно?

– А еще в воздухе.

– ?! Простите... не понимаю. Это как?

– А он наблюдал. По рации: «Кто в воздухе?» Отвечаю: «Полк майора Богданова». – «Орден Кутузова второй степени, майор».

– Иван Григорьевич, – говорю, – сколько же у вас всего боевых орденов за войну?

– Что, – говорит, – ордена. Давайте за ребят выпьем.

И встал. Заплакал.

Глава вторая

Гадская это работа – беречь больное. Бойцы вспоминают минувшие дни – это праздник специфический...

Высморкался Богданов, извинился. Продолжает исполнительно докладывать:

– Восемь орденов и семь медалей. Не считая того, что уже в мирное время.

– А какие ордена?

– Ленина, два Боевых Красных Знамени, два Отечественной Войны, первой и второй степени, и еще одна Звездочка. Кроме тех, что говорил уже.

– Иван Григорьевич, – говорю, – это ведь большая редкость, чтобы боевой летчик прошел всю войну от первого до последнего дня.

– Да, – говорит. – Это редко бывало.

– Сколько у вас боевых вылетов?

– Сто пятьдесят шесть.

Вот тут профессионализм мой подослаб и сменился личным уже, живым уважением. Да ни хрена себе, кто понимает!

– Простите, – говорю, – так а... вы... получили Героя Советского Союза?

– Нет.

– Но ведь, если не ошибаюсь... штурмовикам и бомберам давали Героя по боевым вылетам – сначала за пятьдесят, а с сорок третьего за сто вылетов?

– Совершенно верно.

– Ну так?

– Были некоторые обстоятельства.

Значит. Советский истребитель имел запас прочности на пятьдесят-шестьдесят боевых вылетов – часов пятьдесят в воздухе. Больше не требовалось. Столько почти никто не жил. Раньше сбивали. Если кому вдруг дико везло – ему было дешевле дать новую машину. Средняя продолжительность жизни советского истребителя в войну – шесть вылетов.

Авиация союзников при налетах на Германию теряла за вылет в среднем пять процентов состава. Двадцать вылетов – сто процентов. Норма для американских экипажей была двадцать пять вылетов. Уцелел – домой. Пять последних вылетов летчики называли «за чертой смерти».

Это при том, что союзники всячески берегли свою живую силу. В отличие от нас. Которые цену выполнения приказа признавали только одну – **любую**. А из всех мер наказания за невыполнение преобладала также одна – **высшая**.

Константин Симонов в военных дневниках признается, что всегда хотел слетать в боевой вылет на бомбардировщике, да боялся; а пересчитывая возвращающиеся назад машины, жалел, что все же не решился.

И вот простецкий скромный человек, который налетал полторы нормы Героя, и ни фига не получил. И молчит тихо.

– Иван Григорьевич, – говорю, – а сколько у вас налета, всего?

– Девять тысяч часов в воздухе.

– Но за пять тысяч полагается давать Заслуженного летчика СССР? Вы?..

– Да нет...

– Вам это звание не присвоили?

– Нет.

– Но почему?

– Всяко бывает.

– А какая ваша последняя должность перед пенсией?

– Заместитель начальника Центрального научно-исследовательского летно-испытательного центра по летной части.

– А начальником кто был при вас?

– Гризодубова.

Ох да ни фиги ж себе пилотяга мне попался! Ас из асов.

– А когда вы начали летать? Что кончали?

– В двадцать девятом году. Тогда это называлось «Московская школа военлетов».

– А первое место работы?

– Меня после окончания оставили там инструктором по пилотированию.

– А потом?

– В тридцать первом году уволили в запас и назначили летчиком гражданской почтовой авиации.

– На какую линию?

– Тифлис – Москва.

– Сложная была работа?

– Да.

– Чем?

– Во-первых, полеты часто проходили в сложных метеоусловиях. А график надо было выдерживать бесперебойно. Время было строгое. А во-вторых, это была самая длинная беспосадочная трасса в Союзе. Приходилось беречь горючее, все время в воздухе экономить.

– И как вам там работалось?

– Летал.

– На каких машинах?

– На «юнкерсах».

– Судя по вашей биографии, летчиком вы были хорошим, чтоб не сказать больше?

– Нареканий не было.

– А успехи там, поощрения какие-нибудь? Были?

– В тридцать пятом году по итогам Всесоюзного соревнования был лучшим летчиком почтовой авиации. Дали Грамоту. Калинин вручал. Вызывали в Кремль. А в тридцать шестом – именные часы от наркома авиации.

– За что?

– Лето было грозное. Многие попадали в аварии. Гибли, бывало. А я летал по графику.

– Как же вам удавалось?

– Опыт уже был. Машину чувствовал. И трассу хорошо знал.

Вот что я вам скажу. Если вы никогда не выбирали адмиралтейский якорь вручную, так вам не понять, с каким напряжением я это все из него вытаскивал. Третья бутылка, однако, на донышке плещется! Я уж косою, как сизый голубь. А он сидит. Улыбается мне добро. А рот при этом сомкнут в прямую линию.

– А как вы попали в Дальнебомбардировочную авиацию?

– В тридцать девятом году ее сформировали. Шестьдесят машин – пять эскадрилий по двенадцать. Командиром назначили Голованова. И он стал из кадров гражданской авиации вытаскивать к себе самых опытных летчиков. Летали-то мы лучше военных. Много, постоянно, в любых условиях, на большие расстояния. И меня тоже призвали. В прежнем звании лейтенанта. Поставили командиром экипажа. Все это тогда считалась одна дивизия.

Все. Вот тебе и вся его биография. Что хочешь, то и пиши.

Не раскручивается. Не колетса. Не хочет про свои подвиги.

Плохо быть дураком. Не надо проламывать в лоб позицию, которую можно взять обходом. А чем его спровоцируешь?

– Иван Григорьевич, – говорю, – вы, наверное, читали ведь военные мемуары других летчиков.

– Не без этого.

– Там же, по идее, очень много умолчано. Встречаются просто фальсификации.

– Потому я и решил написать свою книгу. Уж как вышло... простите...

– Вы могли бы сейчас – в частном порядке, неофициально, – вот разоблачить какое-нибудь такое типичное вранье в таких мемуарах?

– Ну... зачем же людей порочить.

– Хорошо. А что-нибудь свое? Не для печати?

– Вы что имеете в виду?

– Иван Григорьевич, почему вам, с вашим послужным списком, не дали Героя и Заслуженного? Происхождения вы рабочего, член партии, русский, фронтовик, орденосец, летчик высшей квалификации. В чем дело? ЧП, аварии, выходки? А? Ведь несправедливо же?

– Ни одной аварии, – говорит, – у меня никогда не было. За все девять тысяч часов. Не считая... – и умолкает.

– Давайте, – говорит, – окошечко откроем. А то вы накурили немного... нет-нет, пожалуйста, я сам курил! Просто – тепло, свежий воздух.

Выпили мы с ним по последней, и достал он из тумбочки одинокую бутылку «Жигулевского».

– Понимаете, – говорит, – дорогой, времена ведь бывали всякие, и о многом писать нельзя. Никто не позволит, да и зачем, понимаете... не все знать надо.

Ну например. Как-то в сорок втором прикрывала нас в вылете шестерка истребителей с соседнего аэродрома. Отбомбились мы без потерь, вернулись домой, садимся. Истребители помахали нам крылышками и отвалили к себе. И только они скрылись, мы уже на стоянке заруливаем, последнее звено садится – из облака вываливаются неожиданно два «мессершмитта»! С ходу, с пикирования, срубили двух последних – и исчезли раньше, чем наша ПВО смогла открыть огонь! Потеряли две машины, два экипажа, уже дома, понимаете.

Так вот. В двадцать четыре часа командира истребительного прикрытия расстреляли полевым трибуналом. Потому что был такой приказ. Не имеет права отлучаться ни при каких обстоятельствах. Охранять ценой собственной жизни! А мы ведь еще не все зарулили и замаскировались. Все – нарушение приказа, бросил, понесли потери, виноват, – расстрел. А что вылет был на пределе их радиуса действия, что они на последних каплях горючего домой сели – это никого не интересовало.

Вот так вот. Кто это напишет...

А меня сбивали. Два раза. И оба раза – над территорией, занятой противником. Дважды выходил к своим. И все еще хорошо обошлось.

Потому что во второй раз я находился на оккупированной территории двадцать восемь суток.

А вы, дорогой, сейчас ведь не представляете, что это было такое – «находился на оккупированной врагом территории»...

Вот только один случай, который произошел с моим другом, из нашей же эскадрильи... а ведь мы еще на почтовых вместе летали.

Глава третья

– Его сбили в самые первые дни войны. Выбросился с парашютом и тут же был захвачен в плен.

Ну, документов мы ведь с собой не брали. Партбилет сдаешь перед вылетом замполиту, удостоверение личности – командиру строевой части. Так что он сказался бортмехаником – не командир, летающий рабочий, чего там, – для спокойствия, чтоб не расстреляли.

Попал в лагерь. Потом немцы начали из лагеря отбирать квалифицированных рабочих для разных своих нужд. И он попал на работу туда, куда только мечтать мог – на аэродром. И там среди таких же пленных обслуживал Ю-восемьдесят седьмые.

Конечно, немцы всю работу строго контролировали и проверяли. Возможность любого саботажа была исключена. Перед вылетом все смотрит немец, старший механик. Что заметит такое – расстрел тут же. Работали.

И он все вынашивал идею улететь к своим на немецком самолете. До кабины пленных не допускали. Заправка и непосредственная подготовка к вылету – под строжайшим присмотром. Все было у них продумано, подстраховано. И он ловил обрывки разговоров, присматривался краем глаза, чтоб представить себе детали управления.

И вот летом сорок второго их аэродром был под Псковом. И как-то выдался подходящий случай. Стоял чуть в стороне от других одинокий заправленный самолет – видимо, для воздушной разведки.

Повели пленных на обед. А он приотстал, закопался как бы в снятом на ремонт двигателе. На снятом двигателе не улетишь, диверсию тоже не очень устроишь, и охрана слишком уж не бдела на его счет. Он старательный был, дисциплинированный, на хорошем счету. Махнул рукой им – мол, иду, иду, айн момент, работаю.

А куда ты денешься? Кругом колючка, и пулеметчики на вышках.

Те колонной отошли, он схватил коленвал на плечо и поволол к заправленному самолету на отшибе. А пулеметчики, аэродромная охрана, к летной-то службе отношения не имеют и в ней не разбираются. Чего-то пленный ремонтирует – ну и ладно, значит, так надо.

Он положил коленвал, для виду еще покопался в моторном лючке, чего-то где-то попопирал, поправил, а потом влез в кабину.

Вот тут охранник с вышки ему заорал, чтоб вылезал, это запрещено. Он охраннику трясет отверткой над головой и кричит, что у него – приказ работать. А сам лихорадочно по приборной доске шарит, где аккумуляторы включаются. Ручка – это ясно, педали – ясно, сектор газа – вот, горизонт, шаг винта... подача топлива... а где аккумуляторы?!

Охранник свистит. Кто-то уже бежит по полю в его сторону.

Он переключателями щелкает лихорадочно. А! Осветились циферблаты! Есть!

Красная кнопка – запуск! Пошел пропеллер!

Главное – он ногами незаметно колодки из-под колес сдвинул, пока для отвода глаз в самолете копался. И – с ходу выруливает на взлет.

Охрана начинает палить в воздух. Потому что жечь свой самолет – это уж самый крайний случай, немцы бережливы; а чтоб пленный, да улетел – это очень маловероятно, считалось-то, что летчиков среди них нет, только механики.

И он разгоняет самолет, уже мотоциклисты погнались, уже охрана с вышек на поражение строчит, фюзеляж дырявит. Но «Ю-87», надо заметить, к его счастью, машина очень живучая: бронированная, баки экранированы, и поджечь его довольно трудно даже из крупнокалиберных и скорострельных авиационных пулеметов, не говоря об обычном армейском МГ-34.

И взлетел ведь! Оторвал машину и на полном газу ушел на бреющем за лес. Фюзеляж очередями ему подрали, но в общем машина вполне управляема.

И взял курс на восток, и шел на высоте десяти метров, чтоб быть как можно незаметнее. Потом сообразил, что на востоке его будут перехватывать, радиосвязь у немцев хорошо работала, и пошел на юг. И пересек линию фронта уже за Великими Луками.

Огляделся, истребителей наших не видно, поднялся повыше и стал выглядывать подходящее для посадки место.

И нашел наш аэродром. И быстро на него сел, чтоб не сбили впопыхах.

И вот садится на наш аэродром «лаптежник», все смотрят, пулеметы наводят, насторожились. Откидывается фонарь, глохнет движок, высовывается рука и машет. И вылезает он, вопя по-русски, что – свой, не стреляйте.

Ну, встреча, конечно, и все такое...

Богданов замолчал, налил себе пива и выпил.

– Может, еще пивка? – предложил он.

– А дальше? – спросил я. – А потом?

– Не было дальше. Не было потом. Арестовали, допросили в «Смерше» и расстреляли.

– За что?

– Ну как это за что. Красный командир, летчик, коммунист – сдался в плен. Обязан был застрелиться. Это – раз.

Работал на врагов. Да не просто работал – обслуживал их боевую технику. Это уже прямая измена, предательство. Это два.

И, вероятно, завербован немецкой разведкой и прилетел по заданию, внедриться к нам и продолжать враждебную деятельность. Это три. Просто так-то, знаете, от немцев на их самолете не улетишь, верно?

Вот и вполне достаточно.

Потом уже, после смерти Сталина, после всех реабилитаций, в газетах писали о таких случаях как, значит, о примерах мужества и героизма. Ну, а о том, что этих героев расстреливали, писать, естественно, было как-то... ну, понятно.

– Иван Григорьевич, а когда вас сбили в первый раз?

– Седьмого июля сорок первого года.

– Где?

– Немного юго-западнее Орши.

– Как?

– Да очень просто. Истребители.

– А прикрытие?

– Не было никакого прикрытия.

– Почему?

– Этого нам не докладывали. И вообще летчики говорят, что когда Господь Бог наводил порядок на земле, авиация была в воздухе. А всерьез – практически всех истребителей немцы сожгли сразу на земле, на приграничных аэродромах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.